И. СЕЛЬВИНСКИЙ 2

И. Сельвинский

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

собрание
сочинений
в шести
томах

издательство
„художественная
литература"

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

ТОМ

2

ПОЭМЫ

МОСКВА
1971

Р2
С29

Редакционная коллегия:

В. А. КОСОЛАПОВ, А. А. МИХАЙЛОВ,
С. С. НАРОВЧАТОВ, Л. А. ОЗЕРОВ,
О. С. РЕЗНИК, М. Б. ХРАПЧЕНКО

Примечания

О. С. Резника

Оформление художника

Е. Ганушкина

7-4-2
Подп. изд.

РЫСЬ

Вере Инбер

ПРЕЛЮД

Поэзия! Ты изучаешь мир
В его решениях проблемы счастья.
Да, лес и горы — тишина да мир,
Но сколько тайн в ущельях или в чаще!

Для хищника везде и всюду пир.
Прислушайся: хрипения все чаще,
И кажется растерзанным на части
Не только шар земной, но сам эфир.
И все же счастье обитает в мире.
Пускай оно не дважды два — четыре,
Но в нем законы высшего числа:

Во всем, что дышит, есть его величье!
Хоть жизнь и коротка и тяжела,
Бессмертие в ее веселом кличе.

ЧАСТЬ I

1

Кого судьба ласкает благосклонно?
Ужель всегда того, кто образцов?
Кого выносит на крутые склоны
Шалуньи-счастья голосистый зов?

Всегда ль того, кто, в битвах закаленный,
Любую участь одолеть готов?
Да вот ребенок у кривого клена
Причмокивался к мамке меж кустов.

Рысенок был довольно взросл — и мать
Его кормила, чтобы удержать.
Так вот хотя бы в этом (даже в этом!)

Без всяких преимуществ и заслуг
Он был отмечен. Да! По всем приметам,
Ему удача ближе всех подруг.

2

Ему удача ближе всех подруг:
Обходят бор за бирюком бирюк;
Почуя их, свирепая старуха
Шлепком скатила малыша в яруг...

Он страшно оскорбился. Не испуг,
А гнев рипел из рыженького брюха,
Но поверху дымила завируха
И относила рев его на юг.

Наутро вылез — никого. До слуха
Донесся только необычный стук...
Окаменев, он поднял оба уха:

То кости матери стучали глухо
Под ветерком. Отныне каждый звук
Ему сулит таинственное «Вдруг»,
Ему сулит таинственное...

3

Вдруг
Картавый гам, задиристый и грубый.
Он изловчился — скок! Ах ты, фетюк:
Гал-галки вскинулись — и с мордой глупой,
Подмаргивая, он глядит на сук.

Однако долго думать недосуг.
Рысек идет на хитроумный трюк:
Как мать, он лег на снег подобьем трупа.

Сидит ворона. Смотрит свысока.
Наискосок снимается с сука.
Прошлась туда-сюда непринужденно.

А тот лежит на лысинке лесной
Такой, должно быть, нежный да парной —
Над ним как бы сияние короны.

4

Над ним как бы сияние короны...
Однако же он мертв или уснул?
Тут вороненок спрыгнул за вороной:
Он воровато падаль обогнул,

Вскочил на круп. Раскрылся. Долбанул.
Прислушался — но, жаждой покоренный,
Он слышал только лиственничный гул
И вот нацелил носик вороненый.

Но цап рысенок за хвостовый пук —
И по отполированному насту
Понесся, будто миф с крылатой пастью,
Доглатывая на лету...
И пух
Лиловый на его багряной масти,
И сизый иней ледовитых вьюг.

5

И сизый иней ледовитых вьюг
Уже не страшен. Хмурый и свирепый,
По горлу перекатывая хрюк,
Полуволосый, он колюч, как вепрь.

Еще прыжок ретив, но не упруг,
Еще движенья шумны, бег нелепый,
В нем втянуты межреберья, но крепок
Его крестец, да и любой вертлюг.

И он учился ставить лапы так,
Как это нужно зверю для атак.
Он понял Когтя и Клыка законы!

И, победивши хищника в бою,
Он хищность проносил теперь свою,
Как вешний ветер, солнцем опьяненный.

6

Как вешний ветер, солнцем опьяненный,
В него вселяет неуемный дух!
Он шел теперь, собою упоенный,
Туда, куда вели глаза и нюх.

Он победил врага! А ведь давно ли
Был перед ним и куропач — силач?
Теперь же все в его безбрежной воле.

Вон у потока высится рогач.
Возьму его! И он несется вскачь,
Себя воображая тигром, что ли.

Олень взглянул на рыжика. Он двух
Таких швырнет своей ветвистой кроной.
Рысек не знал. Он вымахнул — и бух
В весенних волн водоворот вспененный.

7

Весенних волн водоворот вспененный
Хлестнул его, рванул его, понес...
Но, кувыркаясь, рыжик оглушенный
Нет-нет да тычет над водою нос.

А бешеная стрежа неуклонно
Несла комок встопорщенных волос
Посередине узкого каньона
На черный угрожающий утес.

Казалось, гибель неизбежна. Но —
Конечно, перед каменным утесом
Торчало в стреже рыхлое бревно.

И коготь уцепился, точно крюк...
Прыжок — и зверь ползет уж по откосам.
Всё для него таилище наук.

8

Всё для него таилище наук —
И он пугливо огибал излук
Не только озера, а просто лужи,
Подобострастно становясь поуже.

Как он тогда барахтался в воде!
Он должен был погибнуть в пенных гривах,
Однако бог случайностей счастливых
Берег его повсюду и везде.

Вот и сейчас: идя на чей-то запах,
Он вдруг почуял мощный аромат...
Багровый и сверкающий, как Запад,
Какой-то зверь у каменных громад —

На солнце щуря скошенные глазки,
Он нежился в его горячей ласке.

9

Он нежился в его горячей ласке.
Он был похож на мать. Но этот мех
Невыносимо яростной окраски,
Краснее красного... Краснее всех...

Но этот рост... Но эти мышцы... Связки...
И этот страшный, этот желтый смех,
Когда, увидя рысь, он без опаски
Осклабился своей военной маской...

А у рысишки перед страшной дракой
Испортился пузырь. Он начал плакать:
В нем каждый хрящ предчувствовал раскус.

«Багровый» встал. Он выгнул спину гордо,
Зевнул во всю седеющую морду.
Он знал и хватку, и соленый вкус.

10

Он знал и хватку, и соленый вкус,
Но рыжеватик спрятался за куст.
«Уа-у... Яу...» — зарычал Багровый:
Мол, выходи-ка, ежели не трус.

Над желтым зубом приподнявши ус,
«Уа-у... Яу...» — загремел он снова,
А на груди открылся, как обнова,
Такой же, как у рыськи, белый туз.

Отец? Но, ослепляющ и гремящ,
Отец рычал не для отцовской встряски:
Он смерть! Гляди: он вымахнул из чащ!

Но яма на охотничьем участке
Давно ждала. В ней сгинули сейчас
И скрип когтей, и эти клычьи лязги.

11

Но скрип когтей и клычьи эти лязги
Развеялись не фабулою сказки.
Нет, все это не чудо и не сон:

Избегла рыська смерти неминучей,
И это был, конечно, только случай,
Но то, что молодость жива,— закон!

О да! Так и должно было случиться
(Я этого признанья не боюсь),
Чтобы заката красномехий рыцарь
С полета пал на заостренный брус,

А недорысок, рыженький бутуз,
Ушел в тайгу резвиться да яриться,
И голосята юного зверинца
Раскинулись на весь большой улус.

12

Раскинулись на весь большой улус
Неописуемые рысьи лапы.
Еще вчера смешные, как растяпы,
Они сегодня... Погляди-ка: ну-с?

Или загривок кряжистый хотя бы,
Способный вскинуть лошадиный груз!
А грудь? Пророчествовать не берусь,
Но вряд ли с ним сразится косолапый.

Да рысь ли это в самом деле? Разве?
Он божество! Он величавый празверь!
Он шел как будто поступью веков.

Природа в нем свои являла думы.
И средь лисиц, оленей и волков
Он княжил, одинокий и угрюмый.

13

Он княжил, одинокий и угрюмый.
Он на пределе роста своего.
Он был вполне готов. Но для чего?

К чему, оберегаемый судьбою,
Он был храним от всяческого зла?
Зачем пурга под волчьею гурьбою
На юг его рыкапье унесла?

Зачем случайность рокового боя
Над ним свои раскинула крыла?
Какая цель манила, и звала,
И кликала дорогой голубою?

Он царствовал, угрюм и одинок.
Его тоски никто понять не мог,
И духа в рыси заклинали чумы.

14

И духа в рыси заклинали чумы,
А он и сам не знал, чего хотел.
Подымут лисы свадебные шумы —
Как рыжий выстрел, он на них летел!

Дана оленям важенка в удел —
Он мигом их развеет, словно думы!
Он, как монах-отшельник, пе терпел
Торжественного ликованья тел.

Мой голубой! Серебряный! Червонный!
Ты сердцем слышишь птичий перелет —
И нервы раздражаются до звона...

Но не горюй. Любовь твоя придет.
Она пе за горами: ты ведь тот,
Кого судьба ласкает благосклонно.

МАГИСТРАЛЬ

Кого судьба ласкает благосклонно,
Тому удача ближе всех подруг:
Ему сулит таинственное «Вдруг»,
Над ним как бы сияпие короны.

И сизый иней ледовитых вьюг,
Как вешний ветер, солнцем опьяненный,
Весенних волн водоворот вспененный —
Всё для него таилище паук.

Он нежился в его горячей ласке,
Он знал и хватку, и соленый вкус,
А скрип когтей и клычьи эти лязги
Раскинулись на весь большой улус.

И княжил он, свирепый и угрюмый,
И духа в рыси заклинали чумы.

ЧАСТЬ II

1

Тайга чернела. Закурились ели,
Отряхивая снежные меха.
Дымились кедры. Капали капели.
Ручьи залепетали, закипели.

Сквозь шорохи да хвои вороха
В пару соснищи дуплами глазели,
И лиственниц разбуженное зелье
Туманами стекало в берега.

Опять случилось чудо в белом мире!
Зеленый клык над тундрою повис
Языческим пророчеством о пире.

Земля жирела. Запахи неслись.
А над суземом, гриву растопыря,
Заржала громом мчащаяся высь.

2

Заржала громом мчащаяся высь,
Везде и всюду зверя подымая.
Весна, весна! И назвонило с мая:
«Чиви-чиви... Га-га... Кувыс-кувыс...»

Проносится на свадьбу волчья стая,
Медведь захрюкал песню, хоть и лыс,
И жаркий тигр
между алых лис
Уходит за тигрицей до Китая.

По плесам плески выдер и куниц,
Икра горит на рыбах и на зверях,
Намазывая понадречный низ.

А под сосною в златожарых перьях,
Меж корневищ подрыв бородый берег,
Жила-была в тайге рудая рысь.

3

Жила-была в тайге рудая рысь.
Цветастый мех лоснился в перелаке.
Когда она лакать спускалась вниз —

В воде мерцали голубые баки,
И на ушах распыженная кисть,
И пасть курносая в клыках для драки.

И вдруг напротив отразил ручей
Раскосые по-азиатски щели
Зеленовато-ледяных очей.
Она отпрянула! Кто это? Чей?

Багряный. С хищной грацией в теле.
Весь обаянье. Наяву? Во сне ли?
В ней кровь теперь отравы горячей...
Глаза ее лукаво зеленели.

4

Ее глаза лукаво зеленели.
Она пошла и оглянулась. Он
Как зачарованный глядит на прелесть
Ее мехов. Он будто видит сон.

Тогда она по-птичьему сквозь стон
Журчащие проворковала трели.
Она... она звала. Куда-то в шелест.
И началась игра. Сраженье. Гон.

Так вот оно, томление весенье,
Та боль и нега, мутное веселье,
Такое, что кружится голова,
Что сердце не расплещется едва!
Любовь — теперь он знает — такова:
Пушна-пушиста. В белом ожерелье.

5

Пушна-пушиста, в белом ожерелье,
Насытясь им, ушла в свою нору,
И долго там ее глаза горели.
А лето шло. Шли долгие недели.

Разбухло чрево. Уж охота — труд.
Глодая тошно рыхлую кору,
Она косилась на речные мели,
Где снились золотистые форели.

Но не спуститься. Не покинуть мыс.
(Ведь щелопы остры и крутоваты.)
Как хорь какой, она ловила крыс.

Но наконец явились рысенята.
Теперь, заботой новою объята,
Озерных зорь она вдыхала бриз.

6

Озерных зорь она вдыхала бриз —
Проходит лось, горбат и черно-сиз.
Ей вспомнился олень над водопадом...
Но уж теперь она была не та.
Сохатый шел. Глазел коровьим взглядом
И видел сны, святая простота.

Рысь прянула на лося. Как! Ужели?
Или бедняжке жизнь не дорога?
Ведь он ее в десятки раз тяжеле...
А эти пятипалые рога!

Но рысь на нем повисла, как серьга.
Они по серебрищу зазвенели.
Дичина, подымаючи снега,
Гоняла так, что только вихри пели.

7

Гоняла так, что только вихри пели,
Что под копытища валилась твердь.
А рысь висела, подбираясь к цели,—
И вот удар! Всей мощью! На пределе!

Бык вдруг споткнулся. Хищник вперевертъ,
Но пал на лапы, и, опомнясь еле,
Он тут же закусил варуху [1].
Смерть.

О, залежи коснеющего сала!
Рысица их терзала и кромсала,
Вползала в чрево, в сукровичью слизь,
А после брызги на себе сосала...

И все-таки безмолвно угасала,
Когда следы в тайге перевелись.

8

Когда следы в тайге перевелись,
Ей чудилося, будто бы олени
Под сланцами в кедровнике паслись.
Как щелкают их тонкие колени!

Она их видит. Зубом видит! Близь!
А вымахнет — и никого. Виденье.
Об эту пору жили только тени,
А запах и следы перевелись.

---

[1] Варуха — бычачий затылок.

Но ведь не может быть, чтоб из-под ног
Не выскочил какой-нибудь щенок,
Чтоб не чесались у щененка десны.

Ведь мир стоит? Так, значит, молодь есть!
Но рысь не в силах на нее набресть
И, рыща вновь, лизала блеск морозный.

9

И, рыща, вновь лизала блеск морозный,
А счастье не валандалось за ней,
Как это было на истоке дней.

(Да, счастье! Пусть наука утверждает,
Что в мире только сильный побеждает,
Но если допустить, что это так,
Каким же чудом выжил молодняк?

Причина тут еще иного рода:
Счастливый случай есть закон природы,
Без коего не выкунеть никак
Зверепышу любой-любой породы.)

Могучая, пудов почти на пять,
Рысиха бродит снова и опять,
Обхаживая меховые сосны.

10

Обхаживая меховые сосны,
Вдруг увидала след. О, боже: след!
Тропой убийства, вековой и косной,
Рысище машет за добычей вслед.

Вдруг что-то куцее... Зафыркав грозно,
Возник рысенок, от мороза сед:
Он в ожерелье матери одет,
В косых его глазах сияли весны.
(Благословен да будет мир земной,
Который не состарится со мной!)

Вот он стоит, розовопух и ярок,
Незащищенный рысий переярок,
Чтобы рысица, выйдя из чащоб,
Запуталась меж зверобойных троп.

11

Запуталась меж зверобойных троп,
В стальной капкан заехала рысица
И ошалела. Стала с ним носиться...
Как страшен был ее цепной галоп!

От ужаса она казалась пьяной
Она от воя выдувала зоб.
Она кусала челюсти капкана,
Закапывала сталь его в сугроб.

Куница, соболюшка, даже выдра
Уже обсели, чтобы клок повыдрать,
Пугач и пукша ждали, чтобы мгла...

Но рысь моя была таежной школы:
Она отгрызла ногу, как могла,
Отбилась и опять ушла в подолы.

12

Отбилась и опять ушла в подолы,
Чтобы терзать, и резать, и душить.
Но ей не сладить со своею долей:
Трехногому в лесу какая сыть?

Старуха стала дремною да квёлой,
Старуха гложет кедровые смолы,
Чтоб как-нибудь до случая дожить,
Но случаю с рысихой не дружить:

И потому по сваленной осине
Она ползет над тиною — и шлеп!
Срывается на самой середине.

Культяпка с лапами забили дробь...
Зря! Побарахталась в болотной тине,
Ослабла — и ее всосала топь.

13

Ослабла — и ее всосала топь...
Тогда охотник взял ее на строп,
Да вытащил, да на пружине взбучил —
И вот она среди таких же чучел

В глухом музее, где зоолог-поп,
От скуки взмыв очки на потный лоб
И водрузивши рысь на верхний ярус,
Прибил ярлык по Брему: «Lynx vulgaris».

Вверху на ниточках воронья стая,
Внизу, за бирюками вырастая,
Глядит в окно стеклянноглазый лось.

Тут свадьба лисья о пощаде молит,
Тут все, что в жизни встретить довелось,—
Ей так везло, пока был хищник молод...

14

Да, ей везло, пока был хищник молод,
Покуда взор по-солнечному золот,
Покуда силой волос отливал,
Покуда голос — грохот и обвал.

А жизнь его не собиралась холить:
Он испытал сиротство, голод, холод,
Он был бездомен, неприкаян, холост,
Но мир пред ним под радугой вставал!

Меж тем взметнулся белый мех метелей...
А клык луны метелицу прогрыз.
Тогда средь недопесков и нетелей [1]
Веснушчатая выпорхнула рысь.

---

[1] Недопесок — молодой песец, нетель — молодая оленуха.

Она сама весна! И в самом деле:
Тайга чернела. Закурились ели.

МАГИСТРАЛЬ

Тайга чернела. Закурились ели,
Заржала громом мчащаяся высь.
Жила-была в тайге рудая рысь —
Ее глаза лукаво зеленели.

Пушна-пушиста, в белом ожерелье,
Озерных зорь она вдыхала бриз,
Гоняла так, что только вихри пели,
Когда следы в тайге перевелись.

И, рыща вновь, лизала блеск морозный;
Обхаживая меховые сосны,
Запуталась меж зверобойных троп,

Отбилась и опять ушла в подолы,
Ослабла — и ее всосала топь...
Ей так везло, пока был хищник молод.

1920

УЛЯЛАЕВЩИНА

Б. Я. Сельвинской

ГЛАВА I

Телеграмма пришла в 2.40 ночи.
Ковровый тигр мирно зверел,
Пока его хозяин,
                        дребезжа на одной ноте,
Истерически носился от окна до дверей.

В окно был виден горячий цех.
Хозяин бекасом бегал поджарым
И вдруг споткнулся о тигровый мех
Под статуей негра с матовым шаром.

И вдруг
            в окне,
                        будто в первый раз
Правду увидел, народ услышал,
И тут-то открылся ему без прикрас
Этого зрелища тайный смысл:

Те же искры как будто не те ж.
Казалось, в цеху ковали мятеж,
Казалось, под грохот и перезвонцы
В копоти черной всходило солнце.

И снова бег по мерцающей зале,
Где все очужбинилось — дверь ли, стена ль...
Вот опрокинул вазу азалий,
Вскрикнул, опомнился и застонал;

Вот он зажег матовый шар,
Вскинутый статуей негра;
Вот потащил, по тигру шурша,
Чемодан с наклейкою «Montenegro».

И стал швырять, метать, кидать
Бумаги... Червонцы... Метелицу меха...
Стиснул руки. Спросил: «Куда?»
Ответил: «Некуда!» — и уехал.

И вьется за ним серебристая пыль.
Ветер утих. Полумесяц ярок.
Но черным видением автомобиль
Умчался, уменьшаясь в рубиновый фонарик.

Таланов был из заводчиков третий,
Но первый и даже первейший плут.
А впрочем — что вам в его портрете?
Все равно его скоро убьют.

Рушился мир из «сакса» и «севра»,
    День
        вставал
            мглист.
Уже погодка, серая от севера,
Сыпала красный октябрьский лист,
Уже агитаторы железною речью
Наспех расковывали цеха,
Уже миллионы вставали навстречу
    Ленину и ЦК:

Забойщики, вагранщики, сверловщики,
                клепальщики,
Строгальщики, чеканщики, крепильцы, гвоздари,
Тихони да бедовые, старики да мальчики
    Из Питера, Самары, Твери.

Тут вправду мятеж, как солнце, варили.
Здесь революцию звали на «ты»
И говорили, говорили, говорили
За все за годы своей немоты.

О чем? Все о том же: по пунктам, по главам
    Декрет обсуждали до дыр.
Здесь каждое слово о самом главном:
«МИР И ЗЕМЛЯ!», «ЗЕМЛЯ И МИР!»

А тут уж ворочался с Мазура и Стохода
    По гарям овсов да вик

В волдырях,
обмотанных
верстами
похода,
Обглоданный
вшами
фронтовик.
Он шел домой безо всякой оказии,
Сам он сказал себе: «Вольно!»
Хватит с него хохотать обезволенно
В дó смерти веселящем газе,
Будет с него по ночам тихонько
Плакать в усы от писем,
Когда завздыхает в окопе гармоника,
Трупным мешая крысам.

И грозная дума в душе завелась,
И вот —
вопреки поповским заветам —
Грянул безбожий лозунг:
«ВЛАСТЬ
СОВЕТАМ!»
Он шел домой. Он деревню разбудит.
Держися теперча, орлена казна!
Лучше ли станет? Кто его зна...
А только того, что было, не будет.
Так хлынь с фронтов, шинельное море,—
Эхма!
Все, кто мерзли, все, кто мерли,
Безвинные смертники — тьмущая тьма!
Астрахань,
Тула,
Рязань,
Самара,
Старая Руза,
Красный Кут,
Слегка отдуваясь облачком пара,
Идут, идут, идут, идут...
Если бы весь этот пар от дыханья
Сжать горизонту в тиски —
Встал бы туман человечьей тоски,
Солнце одурманя.
Если бы каждый солдатский вздох
Спустить на долы и воды —

От урагана бы мир оглох,
Согнулись громоотводы.
Если б из каждого нерва могли
Высечь по искре хотя бы —
Ахнуло бы изверженье Земли!
Так
и родился
Октябрь.
Как бочка, где бродят хмель и вода,
Вспучась от газов, взрывает обруч,
Россия во чреве растила удар,
Разнесший ее христианский образ.
И дедкой за репку по пене по той
Айда!..— катится на ширмах «Петрушка»:
Паук-протопоп,
Крича про потоп,
Мешок-буржуй на пушке,
Да в Крым, да в Кемь, да на Урал
На палочке генерал...
Эй, яблочко,
Куды ж ты котися?
К нам в ревком попадешь —
Не воротися.

Товарищ Гай — председатель ревкома.
(Студент. Из Питера. Двадцать семь.)
Утро — а он и не спал совсем,
Уйдя в разворот небольшого тома.

Ленина он и раньше читал.
Еще в университете,
Думать забыв про студенческий бал,
Бывало, брошюры впивали, как дети —
В те годы немало огарков изжег
Милый сердцу тайный кружок.
Как жаль, что тогда он читал «вообще»!
Ленин звучал для него, как Герцен.
Он представлял его даже в плаще,
Воспринимал не умом, а сердцем.
О, этот пафос! Разящий язык!
Но точность формул промчалась мимо...
Теперь же он ленинец. Большевик.

Он в самой гуще огня и дыма.
Сейчас уже доблесть Гая не в том,
Чтоб видеть поэмой ленинский том,

От зорьки до зорьки в ревкоме топот:
Вопросы ответов ждут от него.
Какое дело кому до того,
Что зелен его политический опыт?
Теперь он обязан осмысливать класс!
Часы на учете. Время сурово.
Отныне у Ленина каждое слово —
Напоминанье, совет, подсказ.

Взять, например, обомшелый, древний
Вопрос о русской деревне.

Согласно декрета № 1
Село получило помещичьи земли.
Однако их роздали не затем ли,
Чтобы крестьянин, как гражданин,
Мог от трудов своих рук питаться,
Забывши о слове «эксплуатация»?
Но можно ли — думает Гай — полагать,
Будто теперь уже мир и согласье,
Будто в деревне тишь да гладь,
А классы уже не классы?

В чем социальный критерий села?
Надел?
Но кулацкая малая площадь
Умножена вечной арендой была!
Ленин писал, что критерий — лошадь.

Лошадь — это цифра посева!
Одна лошаденка? Значит, бедняк.
Значит, ему не прожить никак,
И шел он в отхожий на юг и на север.

Две лошаденки — уже кое-что.
Середнячки понимают сами:

Не занесешься на паре мечтой,
Но можно сводить концы с концами.
Но тройка, четверка, шестерка грив —
Это уже степное раздолье,
Всем очевидное многополье,
Рубль, катящийся, все перекрыв!

Но так ведь было перед войной.
Теперь же счет, очевидно, иной:
Теперь кулак — это нечто вроде
Анахронизма, Владимир Ильич,—
С тех пор как кони погибли на фронте,
Крестьян под одно приходится стричь.
Если однолошадник — бедняк,
А у Еремы одна лошадка,
Значит, ему по-бедняцки несладко,
    Хоть он и бывший кулак.

Гм... А все же — тут что-то не так...
Ерема оправдан уж очень бойко.
Однако — с другой стороны: *кулак!*
Но где его лошади? Где маслобойка?
Мельница, пусть об одном крыле?
Пшеница? Вика? Хотя бы сено?
Ведь кулаки, говоря откровенно,
Живут не в анкетах, а на земле!!

С улицы несся утренний гул:
Деревня тянулась к ревкому, к ревкому...
Гай очнулся, лампу задул,
Наспех умылся и вышел из дому.

У зданья ревкома кого только нет!
Тут понизо́вые, тут верховые...
Вот козырнули ему часовые,
Гай кивнул и вошел в кабинет.

Уборщица вносит четвертку хлеба,
Чай и к чаю конфету. (Одну.)

— Нынче престольный Бориса и Глеба,
Я, комиссар, на часок.
                    — Ну, ну.

Вздохнул. Туман покатился от пара.
В углу забытая дремлет гитара.
Овес растет меж бумаг на столе.
На окнах в ряд воронье сидело.
Ощупал револьвер с пулей в стволе,
Словно бы сделал какое-то дело,
Рассеянно переложил дела
Слева на правый угол стола.

Как трудно сегодня начать работу!
То ли бессонница... То ли весна...
Гай бездумно стоит у окна:
Компрот куда-то повел свою роту,
Впрочем, это, пожалуй, комбат.
Киргиз на верблюде, как некое чудо,
Везет прозрачный куб изумруда
С Урала-реки на мясной комбинат.
Чекалки вопят за тощей отарой.
Степная страна... Степная страна...

Он дернул жилку висящей гитары —
И крылышками обрастает струна.
Дребезг черного грифа о гвоздик,
Жаркого тембра басовое дзз...
И веет о щеку прохладный воздух
Призрачной стрекозы.
— Русь! — произносит тихонько Гай.
Русь... Неумолчный вороний грай...
Как дорог нам свет пустынной зари,
Как внятен дикий ковыльный дух нам,
Взамен черпалок с ковшом — грабари,
А вместо блоков и кранов — «Эй, ухнем!»,
Но в лирике этой выхода нет.

И вот уже, весело степь озирая,
Он думает: «Здесь я выявлю нефть!
В этом грядущее этого края.
Только бы вывезти в гору воз,
А дальше возьмем настоящие темпы.
Из Гурьева я бы рабочих привез,
А инженеров с Эмбы.
Глядишь — подойдут казак да киргиз,
И там, где сегодня лают чекалки,

Земно кланяясь вверх и вниз,
Нефть засосут качалки».
Но уж давно отгудела струна.
Отдых кончился. Баста.

— Дозвольте войти?
— Входи, старина.
— Здрасьте.
— Здорово. Садись, пожалуйста.

Гай говорил деревенским «ты»,
Считая, что так задушевней.
(Он знал лицо городской нищеты,
Но плохо знал бедноту деревни.)

Старик в заплатанном зипуне
Пришел из села толковать о коне:
— Нас, комиссар, никому не жалко.
Одни напасти. Один недоед.

— Постой, постой. Ты откуда, дед?

— Мы из деревни Сухая Балка.
Хома Хомич. Землишка, тово...
Землишку дали под рождество.
Спасибо Советской власти.

— Вот видишь. А ты говоришь про напасти.

— А чем пахать-то? Иде у нас лошади?
Что ж нам, на ваших угодьях — замлеть?
Вы, комиссар, давайте положьте
Четвертый параграх декрету об земле.

— Да где же я вам коней наберу?
Кони тебе не грибы во бору.
Были да сплыли. Война, Фомич!
Пять процентов осталось всего лишь.

— Из конского из заводу позычь:
Дадут, коль ты повелеть соизволишь.

— Конский завод, Фомич, не с руки.
Конечно, великая вещь. Не скрою.

Да только завод стоит за рекою,
А власть моя всего до реки.

— Да ведь, касатик, на том берегу
Тоже Россия небось?
— Не могу.

Входит моряк — Седых Алексашка:
Сиски в сетке, аховый клеш,
Ширью морской на груди тельняшка —
Даешь!

За ним Кулагин — капустные уши.
Смахивал он на летучую мышь.
Но с ним входила идея удушья:
Тш-ш-ш...

В русской литературе типаж
Выписывается всегда кропотливо,
Со всеми деталями, четко на диво —
Во все эпохи методика та ж;
Но в русской народной драме, однако,
Герой объявляет, войдя в балаган:
— Я паршивая собака
Царь Максимильян!

Мне с типажом канителиться некогда:
Дел предо мною — кипа из кип,
Так вот я сразу: в бушлатке некто
У меня положительный тип,
Тогда как сосед его — тип отрицательный.
Договорились, читатели?
Василий Кулагин с разбухшим томом,
Сашка Седых с четвертушкой листка.
Василий Кулагин был упродкомом,
Седых — председателем ЧК.
Оба уселись. Глядят на Фому.
— Не можете?
— Нет, дорогой.
— Почему?
Кажись, революция. Все возможно.
Что дли народу, то и не грех.—

(Старик засмеялся весьма осторожно,
Точно рассыпал мелкий орех.)
Гай: — Повторяю, Фомич, не могу:
Конский завод на том берегу.

Входит мужик в солдатской шинели.
— Я из села Отлогого.
— Так.
— Ветров Никодим. Через две недели
Надо пахать. Весна не пустяк.
Момент прозеваешь — и будь здоров.
Тогда уж зерно покупай за монету.

— Нет лошадей у меня, Ветров.
Понимаешь ты? Нету!

— Что ж. Понимаем. Где уж ясней.
Да мы не про вас беседу заводим —
Интересуемся конским заводом:
Две с половиной тыщи коней.

— Этого я не могу.
— Почему?
— Конский завод в Буранском уезде.
— Рядом, однако.
— Но кто я ему?
Чужой ревком. Попробуйте — влезьте!

Крестьянка, инеем разряжена,
Вошла, по-солдатски стуча сапогами.
— С весною вас! — запела она.—
Кто комиссар тут?
— Я.
— Вы сами?
Очень приятно это. Ну вот.
А я Зимина. Солдатская женка.
Прошу: одолжите мне жеребенка!
Ведь рядышком цельный конский завод.

— И эта туда же!
— Хоть клячи какой...
— Но не могу я! Господи боже.
— Да нам не то чтобы конь лихой.

Пускай у него ни кожи, ни рожи —
Были б четыре ноги.
　　　　　　　　　　　— Друзья!
Мы не имеем права! И я
В качестве...
　　　　　　　— Ну, хоть одра какого!

Гай
　встал.
— Даю вам слово:
Мы душу положим за бедняка!
Конский завод разорять не смеем,
Однако помочь вам все же сумеем.
Выход найдем. Прощайте пока.

Крестьяне вышли в соседний зал,
Где небо в амурах, паркет и панели...
С минуту стояли, потом покряхтели
И стали спускаться.

Фомич сказал:
— Конский завод, говорит, не смеем,
А выход найдем.
　　　　　　　　— Найдешь, да когда?
А мы вот сидим, ни шиша не сеем.
— Эх, комиссарики-господа!
Взять-то взяли российский домок,
А как уладиться в нем — невдомек.
— Как невдомек? Да ведь землю-то дали!
— Землю... А что земля без коня?

И три мужика, по ледышкам звеня,
Опять поплелись в неприютные дали.

Меж тем в кабинете товарищ Гай:
— Вопрос о конском заводе оставьте.
Да дело не в нем, говоря по правде:
Не лошадь подымет степной этот край.
Мы вот что: талановский орудийный
В сельскохозяйственный превратим.
Я уже вижу такие картины:
По пашне ходит не конь, а дым!
«Фордзоны» всякие... Локомобили...

Пусть их немного сначала, но пыл:
В каждом пятьсот лошадиных сил!
А? Вот то-то!
                    Ты съезди, Василий,
Выясни, сколько металла у них,
Проверь инженеров на всякий случай.
— Я поеду! — сказал Седых.
Кулагин крякнул: — Чего же лучше?

Но Гай возразил: — Наломаешь дров.
Хоть инженеры сплошное болото,
Но это тебе не охота на дроф —
На соловьев скорее охота:
Тут уж не пуля берет, а нить —
Не убивать тут, а приманить!
Поэтому, Саша, я полагаю...

Но Сашка не ретируется вспять.
Прервавши Гая, он встал — и Гаю
Категорично сует свои пять.

ГЛАВА II

Завод отстоял в 20 верстах.
Ругая дорогу и так и разтак,
Сашка в ревкомовском шарабане
Дотрясся, вошел и сказал: — Привечай!

Директор пил березовый чай,
И в комнате пахло баней.
Увидев чекиста, застыл старикан —
В глазах заметался пейзаж Сахалина,
Но все ж улыбнулся и подал стакан
С двумя облатками сахарина:

— Я очень рад. Угощайтесь, пожалуйста.
Чем богаты, как говорится.

Крицкий моргал, и так это жалостно,
Будто вот-вот заплачет Крицкий.

— Дело такое! — сказал чекист,
Хлебнувши березняка в сахарине
И тут же выплюнув банный лист.—
Заместо орудий будешь отныне
Тракторы делать. К черту войну!
Тракторы. Ясно, а?
                    — Понимаю.
Ну что ж. Попытаемся. Может быть, к маю...
— К марту!
                — Но нынче февраль!
                                        — Да ну?
— Дело благое...— вздыхает директор.—
    Задача текущего дня...
Но... так сказать... новизна проекта
При сжатых сроках... Простите меня,
Но как гарантировать в полной мере
Обеспеченье сельской весны?

Чекист о главном спросил инженере,
Но тот, работая для войны,
О тракторах не имел представленья.
Седых звони́т туда и сюда —
Бессильно все заводское правленье,
А на носу посевная страда.

Так. Всколыхнулася зыбь на груди,
Над глазом запрыгал живчик:
— Слушай! Ты человек из бывших,
Так что... Сам понимаешь... Гляди!

Он встал. Не простившись, отбросил двери.
— Гады! — шептал он угрюмо.— Звери! —
Сашке ясно: тут саботаж.
Ладно. С Крицким расправимся лихо.
А за директора сядет Четыха —
Молотобоец. Человек наш.
Но ведь, по совести говоря,
Крицкого он обругал зря —
Тут уж не справиться и Четыхе;
Поздно, видать, спохватился Гай...
Однако февраль по-весеннему тихий...
А что, если... А? Душ-ша, пропадай!

Сашка Седых — моряк с «Евфросинии»!
Ящик с револьвером, аховый клеш,
Грудью ходит зыбь распросиняя —
    Даешь!
И вот пошел грузовик-пятитонка.
На нем вплотную рабочий народ.
На нем, словно аист, на ножке тонкой
    Глядит в зенит пулемет,
А рядом с шофером — за вспыхом вспых!
Жадно цигарку сосет Седых.

Их встретила степь своим небом усталым,
За ним чужая казацкая весь.
Но снег вокруг уже пахнул талым,
И запах весны волновал, как весть.
Весна, весна! Еще нет на свете
Лазури, подснежников, перепелов,
Но уже душу вымотал ветер
Звоном дальних колоколов.

Весна! Быть может, она этот звон?
Быть может, звучит само мирозданье,
Как звон в ушах в часы ожиданья,
Когда ты болен или влюблен...

Но в этом пасхальном и вешнем духе
Серели хатки бедняцких семей.
Вот под бугром на глухой гнедухе
Пашет бывший кулак Еремей.

Через межу — у сохи-андревны
Ждет-пождет старичишка древний:
Знает Хомич, видать по всему,
Что «бывший» нынче поможет ему.

Вон на бугре, не добыв жеребенка,
Ходит в упряжке солдатская женка,
А за сохой, солдатке вослед,
Шагает мужик двенадцати лет.

Галки садились и снова махали,
Кругом шли на одном крыле...
Когда ж это было, чтобы пахали
В страшном месяце феврале?

Дремучие борозды люди проложат,
А завтра морозко возьми да ударь!
Верно... Но нынче не месяц, а лошадь
Пахарям календарь.

И налегает на плуг Ермолай,
Берег распахивая на верблюде,
И ходят за ним из края в край
О чем-то молящие серые люди.

Унылая, горького вида картина...
Тоска подколодная поедом ест.
Сашка вздохнул.
Мелькнула плотина.
«Отлогое». Мост. Буранский уезд.

Чужое хозяйство. А ветер летучий
Все тот же —
                    яицкий,
                              сгоряча;
Все те же знакомые дымные тучи:
      Емельяна Пугача.

Шофер в нетерпенье подбавил газа.
Восходит усадьба,
Газок сильней —
И вот знаменитая конская база
В башнях и флагах открылась за ней.
Машина махнула в усадебный двор.
Три овчарки в захлебе слетелись,
И вышел, оглаживая пробор,
Что-то дожевывая, владелец:

— Чем могу служить, господа?
— Мы с реквизицией. Населенью
Кони нужны. Посевная страда.
— А! Понимаю. Но, к сожаленью,
Я не держу крестьянских коней.
Ведь у меня что ни лошадь — порода.
— Это ништо для народа.
      Хлеб важней.

— О! И вы согласитесь впрячь
В грубый плуг рысаков Орлова
Вместо каких-нибудь жалких кляч?
— Придется.
                    — Пикантно. Честное слово.
Но мой завод не уездный завод.
Это гнездо тридцати поколений.
Если приедет Владимир Ленин —
Дело другое. Пусть заберет.
Но вам, представителям местной власти,
Я завода отдать не могу.

Вдруг из-за дома послышался гул:
Отчетливый шаг пехотной части...
И тут же выглянуло на крыльцо
Известное по газетам лицо:
Долгоносо, поджаро, безгласо,
Стоит оно, смахивая на бекаса,
Тревожно поднявшегося в гнезде.
Таланов! Так вот он прячется где...
Но дальше в накинутой наспех шинели,
С салфеткой, заткнутой за жилет,
Вышел пузан седеющих лет.
Генерал Гунтер! Он? Неужели?
Сашка... На лбу проступили пятна...
Сашке теперь уже все понятно.
Так. Приехали в самый раз:
Конский завод поступает к белым!
Тихо и сдержанно разъярясь,
Сашка вытащил парабеллум.

— Значит, пахать орловским конем
      Могут желать дурни?
Ну, а в атаку идти на нем
Против рабочих гвардий — культурней?

А грохот сапог все ближе, ближе...
      — Einz-zwei! Einz-zwei! —
Вот офицер показался рыжий.
Четыха крикнул: «Саш! Не замай!»

Сашка рванул воротник (ему душно!),
Владелец жует и глядит благодушно:

Он предвкушает победу.
                    И вот
Из Вены, из Лемберга, из Аустерлица
Вышел и замер пехотный взвод
    Военнопленных австрийцев.

Таланов тихонько отходит в тыл,
Решив, что не место здесь капиталу.
Но Гунтер задохся, салфетку схватил —
И жест к австрийскому капитану!

Капитан Зверж, очевидно, чех,
Уткнув подбородок в остистый мех,
Скомандовал «нá руку!» австриякам —
И вспыхнули ножевые штыки.

— Австрийцы! — Сашка вскричал.— Братки!
Мы тоже вполне готовые к дракам.
Но черта ль вам парабеллум мой
    Или шоферский маузер?
Революция
        вас
            отпускает
                    домой!
Идите домой! Понимаете? На хаузе!

— В штыки! — завопил генерал.
— Вперед! — скомандовал Зверж.
Но австрийцы
Стоят неподвижно.
Австрийский взвод
Грезил о парках своей столицы...
Тогда, на выручку спеша,
Вылетели три ингуша.
С гиком толкая лошадок ногами,
    Под дикий собачий гам,
Рраз в пехоту — и ну нагайками
Вправо и влево по головам!

Летят каскетки, сбитые с маху,
Очки в обрамлении роговом...
Военнопленные стонут, ахают,
Закрываются рукавом.

Кто-то упал... Попятился кто-то...
Кто-то сам под копыта ползет...
Но тут описал полукруг над пехотой
        С грузовика пулемет.

— Айда, Четыха! Давай! Круши!

Пленных не тронули умные пули,
Зато послушно с коней соскользнули
        Мертвые ингуши.

Старик... Но где этот пышный старик?
        Старик испарился сразу.
И тут-то пронесся ликующий крик:
                «На базу!»

Может быть, надо было сперва
Кинуться в комнаты всем авралом
За этим... за Гунтером... за генералом...
Э... Не там была голова!

С загонов тревожно глядят стригуны,
        Конюхи с ипподрома.
Машины — туда!
«Именем ревкома
открыть конюшни для всей страны!»

Да, вот это были деньки!
Мигом раскрылись все денники.
Волей запахло, точно в апреле.
Кони заржали, кони запели...

Первым вынесся красный Трезвон —
Зверь-жеребец благородной крови:
Алая шея, хребтом червон,
В пахах багряный, в боках багровый.
Он сразу влетел в седые ветра,
Подъятый силой незримых воскрылий,
Пылая, словно его окатили
Мокрой киноварью из ведра.

А там выплывают сытые, красивые,
Белые, чалые, вороные,
Бусые, бурые, сизые, сивые,
Голубо-серые, серо-стальные.

Степь! Головными летят дончаки:
Рыжие сами, белы́ чулки,
А дальше во́роны кабардинские,
Карабахские, ахал-текинские,
Хэки, эстонские клеппера,
Тяжкие, поджарые, высокие, низкие,
Амурские, башкирские, калмыцкие, киргизские,
Жмудки, финки, марш-кремпера.

Гривы, гривы... Скользящие мускулы...
Цокот — ливня подробней...
Музыка, музыка, музыка, музыка —
Мощные барабанные дроби,
И звон земли в снеговых накрапах,
Стонущей в ожиданье весны,
И запах, волнующий конский запах,
Древний, скифский запах войны.

Сашке досталась кобылка Нана́.
Сухая, извилистая — она
Напоминала серую змейку,
Когда подымается та из колец.
Сашка взял ее ради смеху,
В спешке, из глупости, наконец.

А может, по совести коммуниста,
Махнувши на то, что он предчека,
Взял, что похуже, что неказисто,
Вместо роскошного дончака.

Мелкоголовка, на ножках-струнах
При длинной колодке (первый приз!),
Она походила на «левый» рисунок,
На карандашный каприз.
Вдобавок — глаза раскосы и злы,
А мех окраски рябой золы.

Матрос подумал, что лошадь годна
        Разве на барахолку.
И все же вскочил, ухватясь за холку,—
И чинно выступила Нана.

Пока он искал короткое стремя,
Покуда рукою ногу вправлял,
Конь изящно хвостом вилял
        И двигался вместе со всеми.

Когда же, устроившись прочно в седле,
Матрос кобылку ошпарил плеткой,
Нана захрипела сдавленной глоткой,
Кинула задом — и тот на земле.

Черт! От этой не будет толка.
Сашка сидит, потирая грудь.
Но та и не думает сгинуть, ничуть,
Хоть нервно стоит, содрогаясь холкой.

Матрос ковыляет к луке седла...
— Тпру, тпру... Не бойся... Послушай...—
Но лошадь змеиным глазком повела,
        Ощерясь и приложивши уши.

— Зачем же кусаться? Хорош! Хорош! —
Под теплой ладонью скользнула шея,
И вот у коня исчезает дрожь,
Конь подобрался, почти хорошея...

— Хорош, хорош! — воркует Седых.
Ушки воспрянули. Конь затих.
Только чуть-чуть запотела косица,
Которую, может, заплел корнет.
Но больше не скалится, не косится...
        Жалко — сахару нет.

Сашка застенчиво поднял ногу,
Взявшись теперь за арчак седла,
Сел и, устроившись, слава богу,
Вежливо попросил: «Пошла?»

И лошадь тронулась вперед,
И лошадь повода берет.
Сначала цокот через двор,
Шажок с рысцою пополам,
И вдруг
легко
понеслась по полям,
По полям, по лугам во весь опор.

Сашка робел подобрать повода,
Даже стеснялся сказать неприличность.
Сашка подумал: «Вот это — да!»
Сашка понял, что конь — это личность!
Он уважительно только сопит,
Держась за арчак... потерявши стремя...
Кобыла летела. Летела, как время,
Сыпля секунды из-под копыт.

Жмудки да финки остались сзади,
Хоть и стучали, старательно мчась:
Не пробежать им, бедняжкам, за день
Того, что текинка прошла за час.

Клепперы — мимо. Кремперы — мимо.
Хэки, бегущие неутомимо.
И, наконец, у Чаган-реки
Даже червонные дончаки.

И вот пройден Буранский уезд,
А впереди — кладбище, деревья,
Алеет зарей позолоченный крест,
Бедняцкая тихо дымится деревня.
Много богатых чувств на земле
В самой обычной житейской золе.
И все-таки радость, печаль или страсти —
Все это «я», «для меня», «мне»...
Но кто испытал великое счастье
Сделаться нужным целой стране,
Кто хоть однажды увидел себя
Как бы помноженным на миллионы,
Тот... У того отныне судьба
Станет особенной, закаленной —

И не проймет закала ее
Ни блеск, ни тюрьма, ни житье-бытье.

С таким-то чудесным чувством в груди,
Не помня себя, грозовой, веселый,
Несясь на текинке своей впереди,
Сашка влетал в деревни и села,
Каждой хатке истошно крича:
— Граждане! Это от Ильича!

Дед Хомич, спаси и помилуй,
Весь онемел, получив кобылу.
Тихо плакал Ветров Никодим
Над меринком седоватым, как дым.
Женка солдатская ахнула только,
Переменясь от испугу с лица,
Когда ввечеру заявился Колька,
За недоуздок ведя жеребца —
И тот, пламенея, стоит на дворе,
Точно его искупали в заре.

Сколько бежит Чаганка-река,
А никогда того не бывало,
Чтоб государство у мужика
Не только чего-нибудь не отбирало,
Напротив — само дарило ему,
Да и не то, что похуже, поплоше,
Не зеленуху-краюху в суму:
Живую, друзья, богатырскую лошадь!
И смаковала деревня всласть:

— Да-а... Вот это, брат, *наша* власть!

А там, в усадьбе, пустые станки...
Белые ласки пищат на конюшне.
Не запоют поутру стригунки,
И не взъерошит их ветер южный.
Мрачно спустилась безглазая ночь.
Овчарки и те улеглися, залаяв.
Кто ж это вдруг закричал во всю мочь:
— Улялаев!

ГЛАВА III

Где взять мне той чудесной простоты,
Которой требует моя эпоха?
За новый стих рубились мы неплохо,
Но, победив, стоим средь пустоты.

Читатели предпочитают ямбы.
Смириться ль? Дать себя опеленать?
Частенько слышишь: «Вот, голубчик, вам бы
У классиков повадку перенять!»

Спасибо, говорю. В пятнадцать лет
И я воспитывался в том же роде,
Но ямбы не вполне в моей природе,
Да и отцвел ямбический куплет.

Иное дело — паузы, затакты,
Движение синкоп и контрапункт —
Живая вещь! А между тем редактор
С опаскою глядит на этот путь.

А между тем по этому пути,
Что будто бы сворачивает скулы,
Идут такие говоры и гулы,
Каким в увядшем ямбе не пройти.

Простая вещь, совсем простая штука.
Терпение пятнадцати минут.
Но с непривычки стих дается туго,
Строфу сломают, сдавят, подомнут,

А там пошли от раздраженья пятна —
И книжица уже летит в окно!
Все старое понятно и приятно,
Все новое обидно и темно...

И вот мой стих напоминает город,
Взорвавший мост у крепостных ворот.
Но я люблю великий мой народ —
Нас никакие ямбы не рассорят.

Читай же ямбы! Вот они — читай,
Привычным обаянием объятый.
А я тебя меж делом в свой «Китай»
Введу тихонько за руку, как брата,
Чтоб ты потом открыто мог сказать
Клеветнику, что ненавистью пышет:
— Илья умеет ямбами писать,
А раз не хочет, пусть иначе пишет.

Однако
тут
не в желаниях дело.
К ямбам, читатель, и я не остыл.
Но лира не шалости с нами затеяла:
Век диктует поэту стиль.
Подобно тому как скелет динозавра
Воссоздают по одной кости́,
Мир любой не сегодня-завтра
Воссоздадим, узнав его стих.

Пусть это песня о сладостях мига —
Экономический здесь трактат:
Ритмы подскажут: пахали мотыгой
Или прошли по земле трактора.

Но эпохальные ритмы сами
Не посещают наш кабинет:
Мысль,
выраженная
словами,
Это еще не поэзия, нет!
Поэзия — это слова, но такие,
Где время дымится из самых пор.
Так дай же в стихи ворваться стихии
Всем эстетам наперекор!

В эпохе ищи свои ритмы — иначе
Вбок уйдешь на сто саженей.
Быть современником вовсе не значит
Стать современным. Дело сложней.

И пусть не всем эта правда видна,
    И в окно летит моя книжица,
Знаю: поэзия, как и война,
    Не по правилам движется.

Итак, смелее, моя строка!
    Да осенит тебя Мусоргский —
Ведь я добиваюсь от прозы стиха,
Как он от обыденной фразы — музыки.

«Москва.
Кремль.
Товарищу Ленину.
Прошу положить конец преступлению.
Седых, председатель соседней ЧК,
На мой конзавод с пулеметом ударил,
Всю родословную разбазарил,
Себе самому подарив рысака.
Борюсь, но не вижу поддержки ни в ком.
                Аджибеев. Буранск. Ревком».

Бледный, с желтинкой, но собранный, крепкий,
Владимир Ильич в пальто и без кепки,
Кусая губы, стоит у кулис.
Когда сообщали о телеграмме,
Люстры зажглись,
                лампионы зажглись,
В графине от знамени вспыхнуло пламя —
И вот президиум (человек сто)
Вырос из массы и хлынул за стол.

У Ленина дернулся нервный рот,
Он глубже засунул в карман свою кепку
И в ожиданье шагнул вперед,
В леса декораций, в пятна и лепку.
Но секретарь, не снимая галош,
Пошел за Лениным:
                    — Что ж им ответить?

Ленин

Этот рысак — очевидная ложь.

Секретарь

А произвол? Как не отметить?!

Ленин глядит: эстрада в дыму
Сто голов повернула к нему.
Вождь! Он сейчас пронесется к трибуне,
Да так, что ветер по пальтецу!
Встретит гром его ласково-буйный —
И вот он с народом лицом к лицу.
Не в первый раз ему выступать,
И все ж он не может не волноваться...

Секретарь

Владимир Ильич! Повторяю опять:
Этот Седых...
                    Но грохот оваций
Заглушает секретаря,
И он, подумав: «Сам я отвечу»,
Ни звука больше не говоря,
      Упился ленинской речью.

Слово!
Нигде и никогда
С такою мощью ты не звучало,
Как в эти дымящиеся года,
Где сотворялось начал начало.
Ни краснословия, ни острот...
Время грозой о себе возгласило!
Не орган речи на митинге рот —
Это судеб вековая сила.
Здесь в каждом звуке древняя боль,
Здесь в каждом слове история дышит.
Отныне, поп-златоуст, не глаголь,
Трещи, адвокат, элоквенцией тише —
В железных тезисах этой поры,

В дельной речи, никем не воспетой,
Великие зарождались поэты,
Пророки, двигавшие миры.

— Товарищи!
Главное, главное, главное:
Ликвидировать голод в стране.
Если не справимся с этим к весне —
Революция обезглавлена!
Нам говорят, что — увы и ах —
Нет зерна, запасы иссякли.
А вы
искали
в кулацких закромах?
Шарили в байской сакле?
Может быть, хлеб-то все-таки есть?
Куда ж ему деться? Ведь был вчера еще!

С места

Есть, да не про нашу честь.

Ленин

Совершенно правильно, товарищи!
Кулак, очевидно, неукротим.
Бродя сиротинкой по голому полю,
Он прячет зерно, спекулирует им,
Срывая хлебную монополию.
Отсюда идет вздорожание жизни!
Но сей некрасовский дядя Влас
Сам же вопит о дороговизне,
Во всем обвиняя Советскую власть.

С места

— Правильно!
— Верно!
— На то и кулак.
— С больной на здоровую!
— Правильно!

Ленин

Итак,
Пора объявить крестовый поход
Мироеду и богатею.

Надо рабочим идти «в народ»,
Поднять бедноту на бой за идею.
Какая энергия бьет из села!
Это гигантская сила числа —
Стать у нее на кормчем весле
Значит добиться великой победы.

Я предлагаю: в каждом селе
    Организовать комбеды!

Георгий Гай, получив заданье,
Вызвал Кулагина и сказал:
— Давай условимся, Вася, заранее:
Будем тверже гранитных скал.
Тебя агитировать ни к чему.
Нужно зерно. Во имя Коммуны.
Зерно же в любом кулацком дому.
Но кулаки — это скифы, гунны.
Не верь их жалобным голосам.
Это враги. Понимаешь сам.

Гай говорил, как велело заданье,
Но сам не верил в то, что кулак,
После войны такой же голяк,
В итоге комбедовского заседанья
Вдруг предъявит (На-кось! Держи!)
    Тонны пшеницы и ржи.
Откуда взять?
                    Но получен приказ,
И он произносит в пятнадцатый раз:
— Это враги. Понимаешь, Вася?
Если кулак пригласит на обед,
Ни в коем случае не поддавайся.
Главное: организуй комбед,
А он уже выявит богатеев.

Кулагин кивнул. Сошел на крыльцо.
— Лошадь! —
И тут же поехал в сельцо.
А к предревкому входил Аджибеев.
Был он дороден, приземист, сиз,
Дышал на ходу тяжело и сипло.

— Здравствуй, соколик! — сказал киргиз.—
Худое дело мне, знаешь ты, выпало.
Этот проклятый конский завод!
И надо ж было твоему Сашке...
(Он выпул бумагу.) Не знал я забот...
Гром и молния в этой бумажке.
Прямо не знаю. Прошу прочитать.
Видишь, соколик: номер, печать.
А? Убедился? Давай матроса.
— Матроса я арестую сам.
— Зачем? Тебе это сделать не просто.
Как-никак, а Сашка твой зам.
— Слушай! — сказал ему Гай кротко.—
Кони-то целы! Они у крестьян.

Киргиз... У него затряслась бородка...
Вскочил, забегал: — Сашка смутьян!
Где у него моя... это... виза?
А? Плевать ему на киргиза.
А ты за него? Ты? Ты? Большевик?
Нет! Я такому ревкому не верю!

Он бросился вон и крикнул за дверью:
— Сашку нельзя оставлять в живых!

«Так,— подумал Георгий.— Так.
Сашка покуда спасен от расстрела.
Но если в Москве заводится дело,
То надо действовать. Этот толстяк
Теперь не уступит. Его дело чисто».
И Гай позвал к телефону чекиста,
А тот затем коменданта позвал,
Сдал дела, печать, парабеллум
И глухо промолвил, покончив с делом:
— Всё! А теперь отведи в подвал.—
Но Гай писал особое мненье:
«Этот приказ на всех произвёл...»

Не так.

«Угон коней — произвол.
Вы правы, товарищи. Тем не менее...»

Снова не так. Чекиста губя,
Буранский ревком проявил близорукость.
Ведь кони-то целы! (Крестьянство порукой!)
Тут надо взять вину на себя.
Не извиняться. Отважнее! Резче!

«Да, мы хозяев дали коням.
Угон — произвол. Но учтите прежде,
Что конский завод не достался бы нам:
Явился Гунтер. С ним целая рать.
Ясно: уйдут за Уральский Камень.
Буранск же молчит. Пришлось выбирать
Меж бедняками и беляками».

Тем временем конь пробежал через поле,
Балкой пошел тарантас.
Кулагин подъехал к церковной школе,
Коня привязал и вошел в класс.
В классе учитель, юный и строгий,
Читает ребятам бессмертные строки:
— Пиши: «В деревне Босове
Яким Нагой живет.
Он до смерти работает,
До полусмерти пьет».
— Ты что читаешь? — крикнул Кулагин.
— Простите... Вы кто?
— Упродком, упродком.
Над школою вьются красные флаги,
А в школе издевка над батраком?
— Позвольте, но это стихи Некрасова!
— Знаю! Дворянские это стихи.
Это поклеп и сугубо классовый
На пролетария сохи.
«Пьет», изволите видеть. «Пьет»!
А где же он пляшет? Где он поет?
Песни-то русские тоже спьяну?
Как тебя звать, учитель?
— Смирнов.
— Служи, Смирнов, бедноте, а не пану.
На первый прощаю. Я не суров.

Учитель смутился... Взглянул на ребят...
Любимые строки в глазах рябят.

Но он отложил некрасовский томик.
Ему, беспартийному, невдомек...
Но что за марксисты у нас в упродкомах!
— Спасибо,— шепнул он,— за то, что помог.—
И отвечает «марксист»: — Ну что же.
Молод еще. Разберешься позже.

В это время подъехал Четыха.
    На грузовой — пулемет.
— Робя! Зови сюда сельский сход.—
Дети взвизгнули.
                    — Школьники, тихо! —
Он сбросил с себя овчинный кожух,
    Мигнул ребятам знакомым,
Шумно курил, разговаривал громом
(Как все кузнецы, он немного глух).

Но вот в уголке Смирнова увидел:
— Это кто?
                — Я новый учитель.
— Бывший дьячок?
                    — Нет, бывший кузнец.
— А как же учителем?
                        — Самоучка.
— Лихо! Не век же над горном коснеть,
Хоть молот куды полегче, чем ручка.
Тут подмахни, это заверь.
А я, брат, подписываюсь, как муха.
Зато уж читать... На книжку я зверь!

И вдруг он крикнул в самое ухо:
— Республике вынь да положь зерно.
И главное: есть, понимаешь, оно,
Да с кулачьем-то каши не сваришь.
Слушай, а? Помоги нам, товарищ:
Нужен бедняцкий тут комитет
Из тех, у кого без курицы курник.
А ты, как есть ты голяк из культурных,
Можешь вполне возглавить комбед.

— Не знаю,— потупясь, сказал Смирнов.—
Я вот Некрасова даже не понял.
— Ни-ни-ни-ни! Никаких слов!

Ты, брат, меня до печенки пронял.
Бывший кузнец! Это ж парень на ять!
— Да дело-то это — не чашка чаю:
Экспроприация, как бы сказать.
Не справлюсь.
— Справишься! Отвечаю!

В класс один за другим входили
Жители ближней балки.
Иные старух с собой приводили,
Помнивших битву на Калке,
Иная молодка с младенцем пришла,
Какая-то девочка с кошкой,
Раиса коня в поводу привела
И стала в школу глядеть из окошка.
(Она теперь и ночью и днем
Никак не могла расстаться с конем.)

Прошел Ермолай и стал у скамей,
Пришел и сел на скамью Еремей,
Под самый конец заявился Хомич
И, заплетаясь, кинулся к парте.
(За лошадь и в честь большевистской партии
Он с кем-то уже распил магарыч.)
Сел. Раздобыл зеленого меха,
Ткнул в ноздрищу под самый хрящ:
— Аап-псрр...
— На здоровье.
— Рящь!!!
Ап...
— Ну?
— А...
— Ну?
— Нет. Проехало.
Фу! До чего же злодейская смесь.
Ну-с. Начинайте. Я-то ведь здесь.

И вот председательствующий Кулагин
Стал говорить, что нужно зерно,
Что не дает его мир кулацкий,
Но мы безразлично все равно
Не пожалеем лютого змея.

Все оглянулись на Еремея.
Теперь Четыха имеет слово.
Он тоже сказал, что нужно зерно,
И главное, есть, понимаешь, оно,
А только кулак его на засовы,
Кулак его на запор, на затвор...
Кто же он есть для республики? Вор!

— Постой, Четыха: да хлеб-то *его?*
— Э, брат! Ты, брат, толкуешь по-барски.
Было так. А теперь каково?
Общетрудящий хлеб! Пролетарский!
Потому голод. В голодной стране
Будь человеком. Не то — к стене!

Опять оглянулись на Еремея.

Но тут уже слово берет Ермолай:
— Я,— говорит,— кулака не жалея,
Должен сказать,— говорит,— что край
Стал до того обездоленный, нищий,
Что кулаков и с огнем не отыщешь.

— Правда! — вскричал из-за парты Хомич.—
Взять хоть Еремку. Был богатеем,
А ноня? Мы кулаков не жалеем,
А только пошто человека хамить?
— Верно, дедушка!
                    — Верно, старик!

Теперь Смирнов уже просит слова.
Однако пока пересиливал крик
Чуть-чуть петушиный голос Смирнова,
Пока разъяснял он народную власть
И в чем, мужики, ее суть, ее «кредо»,
Четыха берет карандашик — и шасть!
Уже накарябал список комбеда:
Смирнов председатель, Хомич, Зимина —
    Весь комитет сполна.

— Крестьянство!
Спорить, крестьянство, не будем!
Тут говорят, что дедушка прав.
Ерема, видно, приятен людям.

Дай ему бог. Но устав — устав.
Если Ерема бедняк — проверим:
Придется, тово... щупануть по перьям.
Вот предлагается комитет:
Учитель Смирнов, Зимина и дед.
По-моему, правильный. Есть возраженья?
Нету? Отлично. В добрый путь.
Товарищ Ерема! При всем уваженье,
Дозвольте на вашу избушку взглянуть.

Ерема сказал: — Я не прочь. Как люди? —
Люди сказали: — А что ж? Пойдем.

Пошли. Ну, вот и Еремин дом.
Хозяйка выносит хлеб-соль на блюде
(Ох, и сноровистая, видать),
Хозяин шутит: — А вот и товары! —
Открыл закрома, повел через гать,
Сарай отомкнул.— Кулачок я, товарищ?
Хозяйство — заплатанная дыра.
Хоть двор да кол — ни кола ни двора.

Четыха сказал: — Погодите немножко.
Дед! Чего бы еще поглядеть?

Но тут подходит девочка с кошкой.
— Дяденька! Загляни-ко под клеть.

Заступ мягко ушел под бревно..
И вдруг оттуда взлетело зерно!
Дымясь половою, но золотисто
Катилось ядрышками мониста,
Одно к одному, одно к одному;
Весомы, литы, сквозисты, отборны,
С веселым шорохом сыпались зерна,
Покидая подземную тьму.

Вот уже доверху грузовик!
Вот уж комбед послал за возами!
Хозяин глядит пустыми глазами,
В хозяйке вспышки огней грозовых,
А сын хозяйский, Четыхи повыше,
Лишь поглядел и на улицу вышел.

После Еремы сивый сосед
И у себя увидал комбед.
Девочка с кошкой уже у повети:
По лестнице взлезла туда Зимина —
И вот, солому взметая под ветер,
Хлынул на землю ливень зерна —
Солнечный, кособокий, дробный,
Как конский топот, лихой и подробный.

Все дальше и дальше уходит комбед.
От Балки Сухой до села Отлогого
Нет такого кулацкого логова,
Норки такой подкулаческой нет,
Где бы учителя заступ бедовый
Не сыпал золото лавой пудовой.

Черные зори коченели в поле.
На заборе каркала мор карга.
Какие-то всадники в смертном запое
Съезжались с обрезами за курган.

И по селам слух задымился золой,
    Будто бы саблею свищет
С конницей в пятьдесят голов
    Дылда, Еремкин сынище.

А за ним молва голосистая,
    Что в разлужьях у Волчьего Спуска
С прапора́ми да гимназистами
Появилась какая-то Маруська;

Что в районе бархан поднялась баш-буза,
    И на глинку бедняцких пашен
Повел в набег верблюжий базар
    Зеленый киргиз Мамашев.

Атаманы в лощине. Атаманы на речке.
Путников за зебры: «Ты чей, паря, а?»
Брызгала разбойничками степь, что кузнечиками,
Да поджидала лишь главаря...

Улялаев був такый: выверчено вико,
Плэчи кучугурами, кавуном кулак.

Зроду нэ бачено такого чоловика,
Як той
Улялаев
Кирьяк.

ГЛАВА IV

Ехали казаки, да ехали казаки,
Да ехали каза-ha?-ки, чубы по губам,
Ехали казаки, на башке папахи,
Ехали под бубен да под галочий гам.

В люльках-носогрейках попыхивали угли,
Табаки наперчены — самсун да дюбек.
Конские гривы да от крови пожухли —
Будет помнить Украина я́ицкий набег.

Ехали казаки до дому из набега.
По усищам патока, по бородищам мед.
Только что там завтря? Ведь наша жизь —
копейка:
Не дорубит шашка — дохлопнет пулемет.

Э, да что там думы? Пой, пока раздолье!
На четыре голоса кукуют подковы́.
Ехали казаки. Перекати-поле,
Полынок да чебыряк, ковыль да ковыль.

Гайда-гайда-гайда-гайда га́й далара́йда,
Гайдая́ра, гайдади́да гай далара́.
Ехали каза-а-аки. Перекати-по-о-ле,
Полынок серебряный да сизый ковыль.

Конница подцокивала прямо по дороге.
Разведка рассыпалася аж за две версты.
Во́лы та верблюды, мажарины та дроги,
Пшеничные подухи, тюки́ холстин.

Гармоники наяривали «яблочко», «маруху»...
Бубенчики, глухарики, язык на дуге.
Ленты подплясывали от парного духу,
Пота, махорки, дегтя — эгей!

Из клеток щипалися раскормленные гуси.
Бугайская мычь. Поросячье хрю.
Мучает коня податаманиха Маруся
В седоватых усиках, в пузырях брюк.

На коне богатая кавказская справа...
(Зря ли ходили из края в край?)
Слева едет Дылда. Мамашев едет справа.
Черное знамя. Вороний грай.

А за ними шапки цветной баранты,
Фуры да фургоны, где кровь да бинты,
Кухни, палатки наря́даныя. Щер-
батая дюймовочка, как допотопный ящер,

Гайдалара́йда! Брод не брод —
Ехали казаки по команде: «Уперёд!»

А по самой гуще, оплясанный стаей
Заерницких бандитщиков из лучшего дерьма,
Ездиет
          сам
               батько
                         Улялаев
     На черной тройке дарма!

Уляляев був такый: выверчено вико,
Плэчи кучугурами, кавуном кулак.
Зроду нэ бачено такого чоловика,
Як той батько Уляляев Кирияк.

За́раз узнаешь ты, степь, Кирияка:
Хлопцы — вважай! Дивчата — голу́бь!
Рудый, сивый, старый, як собака,
В ухе сережка — с дыркою рубь.

А в упряжке лошади, будто изваянья —
Этакой троицы нет и на Руси!
Трем зверюгам этим прозванья:
«Буйный», «Ветер» да «Унеси».

Только рассядетесь, только сели —
Эх, как рванут ямщика с передка!
Гривы круто выгнуты, как на карусели,
Как на мятном прянике из Вязьмы-городка.

А вослед — вороной
радужной масти —
Чудо морское в пене звезд,
Дед Араб,
отец Орел —
целая династия,
От самой Кометы унаследовавшая хвост.

А за ним казаки. А за ним бузуки.
Дух самогонный. Гарь. Дым.
Кровь, перемешанная с грязюкой,
Слезы бабьи за ним.

Берегись, Коммуния! Деревни проезжали.
Где тут комиссарики? А ну? Говори!
На четыре стороны полымя-пожары,
Не видать
на заре
зари.

Тут не щадили ни старых, ни малых.
Вон на крылечке у самых сеней
Какая-то девочка висит на мочалах,
Кошка спокойно уселась под ней.

Ехала банда. Ехал Улялаев.
Кони плясали и так и сяк.
И всюду за ними из сереньких сараев
Заводские лошади сгонялись в косяк.

Деревня за деревней.
— Мужички, здорово!
Всем от атамана поклон земной.

И Хомича кобылка, меринок Ветрова,
Жеребец солдатки Зиминой.

С бубнами, с песнями, гарцуя на марше,
Мимо Сухой Балки,
Отлогого,
реки
Ехали казаки, а с ними клемпер-марши,
Финки, жмудки, русские рысаки.

Что ни подковка, то звон с полтиной,
Что ни аллюр, то кровный заезд.
Едет Улялаев.
Сгинула плотина.
Вот он, Буранский уезд.

Гудят провода баском контрабаса.
Усадьба!
Пришпорили коней —
И знаменитая конская база
В башнях и флагах открылась за ней.

И вдруг косяки, как будто по спискам,
Будто разнесенные по строкам,
С фырком, храпом, ржаньем и визгом
Кинулись по своим станкам.

Махнув рукой на иных пропащих,
Неся на подносе кулич да винцо,
Таланов, коннозаводский пайщик,
Выбежал на крыльцо.

— Освободители! — он закричал.—
Народ-богоносец! Гроза не сожгла его! —
И все совал кусок кулича
Прямо в пасть Улялаева.

Но Улялаев его отстранил:
Покуда вокруг неслись чернодубки —
Женщина в легкой песцовой шубке
Вышла и стала у мерзлых перил.

Трудно писать о женской красе
После Хафиза, Петрарки, Пушкина.
Образы все, сравнения все
В альбомные вирши давненько спущены.

Взять хотя бы «глаза-бирюза».
Кажется, кем они не развенчаны?
Что же мне делать, если глаза
Горят бирюзою у этой женщины,
Если брови как соболя,
Русые косы — коронкою древнею,
Если глядит морскою царевною,
Тихо ресницами шевеля.

— Тата! (Это жена моя — Тата.
Татьяна Андревна.) Тата, сюда!
Пардон... Прошу за мной, господа.
Нет у меня ни сребра, ни злата,
Но есть бургундское и «клико».

И вот за столом, где казачья закуска,
Кутуз-Мамашев, Дылда, Маруська...
Но Улялаев глядит далеко.

Он грустно кушает сало с картошкой,
Потом заедает куриною ножкой
С какой-то приправою из щавеля,
А перед ним — Татьяна Андревна,
Татьяна Андревна, морская царевна,
Тихо ресницами шевеля...

Но батька не витязь на сказочной тризне:
Гордые брови, надменный рот —
Это черты недоступной жизни,
Где для него — от ворот поворот.

И грудь заломило болью душевной,
Точно какая стряслась беда.
Он понимает: эта царевна
Не станет женой его никогда.

Кто он такой? Пройдет его час,
Выдаст медаль генерал фон Гунтер,
И он, что тут верховодит сейчас,
Снова обыкновенный унтер.
Однако ж успеется жить по приказам:
Верста коротка — да наша верста!

Он охватил отаращенным глазом
Облик Таты — и встал.

— Таланов! — сказал он.— У кабинет!
Строчите депешу до енерала,
Шо конив привел я усих мало-мало
И шо нияких претензиев нет.

— Депешу? Пожалуйста. Но куда?
— Це дюже сэкрэтно: аул Урда.
— Ах, вòт как! Прошу вас.

Лениво, как зверь,
В глубинах таящий силу огромную,
Батька проходит в соседнюю комнату.
За ними
закрылась
дверь.

И вдруг в кабинете раздался выстрел!

Что это?
Батька выходит.
— Ось!
(Страшный глаз его смотрит вкось.)
Вин покончив самоубийством.

Как! Таланов? Зачем? Невдомек.
А батька уходит. Пред батькою — лава.
Однако из кобуры Улялаева
Явно курился серый дымок.
— Мамашев!
— Ну.
— Нэмэдля у раз
Конив назад з конюшен.
Панкратий! Ты мэни ось як нужен!
Хòчу, Панкраша, идты на Буранск,
Но хлопцы городу дюже боятся.
Трэба, голубчик, до их подобраться,
Раз-яс-ныть
усей нашой семье —
Шó вин
для анархизму

И вот киргизы сотнями рук
Конские шеи берут на «курук»;
Панкратор Васильевич Куц, теоретик,
Бормочет: «Во-первых, вторых и третьих»,
А к атаману несется вскачь
На рыжем донце деваха-трубач.

Капая солнцем, закартавила труба,
Заливая уши расплавленной медью,
И долго было звонить и греметь ей,
Пока собирался митинг рубак.

Здесь были гунны-верблюжники из Азии,
Крепкие хозяйчики окрестных долин,
Суровые Дюма-отцовцы южных гимназий.
Теория анархии и остров Сахалин.

Пока труба — тари́рара — грассировала тратара́
И разбухался облаком под лошадьми снег —
Вышел
пейзанин
с жестами оратора
С затертыми подтеками от лапок пенсне.

— Друзья! — заявил теоретик Куц.—
Мы, анархисты, сегодня сила.
С нами считается вся Россия,
Мир от Парижа до Вера Круц!
И это понятно: мы — вольная воля,
Свободный ветер, безбрежье души!
Степь да сабля — вот наша доля,
И этим мы хороши.
Пускай враги говорят: «Это орды!»
Чушь. Мы паводок по весне.
Мы вправе гордиться. Гордость! Гордость —
Вот основное, чего у нас нет.
Но мы ведь славнейшая партия в мире:
Мечты всего света в ее шалаше,
Ибо тоска о раздолье и шири
Живет в любой человечьей душе.

Он спаузил, явно тщеславия ради,
Рукоплесканиям выделив миг.

Но хлопцы молчат. В чем дело, Панкратий?
И вот оратор пошел напрямик:

— Однако, друзья мои, этот шалаш
Не может быть вечным нашим жилищем.
Давайте под рост богатырский наш
Повеличавей хоромы подыщем.

Ведь мы не цыгане в конце концов.
Мы с вами политики. Так? Поймите!
К нам скоро потянутся всякие нити
Через посредство разных гонцов.
Весьма вероятно (и это не сон!),
К нам обратится мистер Вильсон.
А мы посланца его во фраке
Должны принимать в дыре, в буераке!
Поэтому ясно, друзья мои,
Что нам не к лицу по овражкам селиться:
Знамени тысячной нашей семьи
Нужна хоть плохонькая, да столица...
И надобно в ней, никого не грабя...

Но тут завопила Маруська:
— Столица? Опять, значит, мода французская?
        Опять эта зависть бабья:
У той чулочки — у меня нет!
У той платочки — у меня нет!
Опять, значит, собственность, так ее так?!
        Вон куда это клонится!
Вон куда тянут наш вольный стяг!
А? Как скажете, конница?

Кутуз-Мамашев с домбро́й на бедре
Дремал на караковом в серебре.
Что ему в этих никчемных спорах?
Его, Мамашева, тайная цель:
В кантарах грузить по аулам порох
День за днем по самый апрель,
А после,
            ночью,
                        выползть — и чжур!
Загнать гинджял Улялаеву в сердце,

Уруских перерэзить, как бараний гурт,
И податься с киргизами прямо к Персии.
Уй-баяй! Он сам будет хан!
Он ханом подъедет к буранской станции —
И вся эта степь, и каждый бархан
Ему самому в тиранство достанется.
Вот потому-то с бесстрастною мурдой
Дремал на коне он, хищный и мудрый.

Но тут вскочил на конский на круп
Самый чудной улялаевский ратник:
Сенька Сахалинчик, он же Мокрятник,
        Он же Золотой Зуб.
Диковинный, бесшабашный, горький,
В наклеенных усах, по Улялаеву «тэмний»,
Из нищего форсу носящий на темени
С хвостиком донышко арбузной корки,
Сенька был против:
— Тут же камень знакомый!
До черта папашей, мамашей, кобыл.
Чуть, извиняюсь, напрут — вы дома!
Иди, разбери-ка, кто у банде был.
А куцый пошляк говорит: «Столица».
В тюрьму хотишь? На воле не сидится?

Этот лиризм шакальего воя
Мигом бандюг задел за живое:
В этой тираде отражены
Все батальные их ступени,
Трусливый характер всех наступлений,
Тактика всей бандитской войны.

— Долой очкастого!
                    — Подавись!
— Геть к чертям!
                    — На чурбан его!

По стрибожьей низине языческий свист
Мизинца и безымянного,
По дремучей степи — улюлюканье, мат,
В бога, божиху и боженят,
Пляс лошадиный, а в довершенье
        Курков галочий кряк.
Казалось бы — всё? Готово решенье?
Но Кирияк есть Кирияк.

Растопырив ковбаски своей пятерни,
Батько заорал: — Цыц!
Сынки! Чи анархия мы, чи ни?
А раз воно так — ныяких столыць.
Столыця, город — нэ наша замашка.
Панкратию трэба, га? Хорошо.
Хай вин там и живэ, Панкрашка.
А нам с тóго шо?
Но мабуть, кому прыспичило ситця?
Мабуть, сапóжки? Чорна лиса?
Для армыи нашой Бураньск нэ столыця,
Но гарна
зэмэльна
полоса.
О тут, я гадаю, нэ худо було б
За дуваном [1] у ту полосу йты.
Повный карман чи пустóй зòб?
Ось вопрос.
Голосуйтэ!

И вмиг ошалела бандитская братия.
Сенька, понятно, прав,
Но надо же знать и бандитский нрав,
Как его знает батя.

И вот уж папахи тысячью пугал
Дымятся на пиках мохнатой горой,
И опять со звоночками — вдаль, в степугу
Бубен пошел рассыпать горох.
И таборы двинулись.
Конница, гáйда!
Ехали казаки. Их крест — у бедра.
Ехали казаки. Гай-даларайда —
Гайдаяра-гайдадида-гай даларá
Двинулись таборы.

И в черной машине
Рядом со страшным чужим мужчиной
Женщина тронулась через поля,
Тихо ресницами шевеля.

---

[1] Дуван — добыча.

Кругом звенело и топотало,
Батя раскуривает уголек.
Сумрак в машине. И Тата устало
Забилась в бархатный уголок.

Какое счастье, что он молчит!
Сразу нахлынули воспоминанья...
Вот над ней склоняется няня,
Что-то ей шепчет под дождь копыт.

Нянина комната — детская мерка
Всему, где мир, покой, тишина,
Как музыкальная табакерка,
Звуков трогательных полна:

В божничке всегда дребезжали стаканы
Над баркой груженой кровати;
Шептались домашние тараканы,
Такие, что можно позвать их;
Та́м, за печкой, рыжий сверчок
По гребенке водил смычок,
Там ликовали в клетке утята,
Там часы говорили: «Тата».

И там же, там же, одетый в свитер
Или в косоворотку одет,
Ходил на занятия к ней репетитор,
    Огненноглазый студент.

Жорж... Он чем-то сродни Рокамболю.
И он ее, кажется, тоже любил.
Он был ее радостью, был ее болью,
    Сном и бессонницей был!

Но вдруг отец мужиками убит —
И стаяла жизнь, ломаясь и рушась!..
Замужество... Выстрел... Этот бандит...
    Ужас!

И, глубже уткнувшись в свое манто,
Тата спросила бога: «За что?»
Тата уверена, что революция —
Это обида неба на нее.

Она уж не раз гадала на блюдце,
Клялась носить простое белье,
А так как у ней собственный ангел в сердце
(Тата звала его просто «Анжелло»),
Она и просила: «Анжелик, не сердься!» —
И ангел кое-что делал.
Вот и сейчас сквозь все это лихо
В слезках ее появился хранитель.
— Анжелик! Сделай, чтоб все было тихо
Или чтоб я жила за границей.

Но вдруг пулемет в придорожных елях
Хлынул по банде!
                    Машина стала.
Батька вылез.
                (Сделай, Анжелик,
Чтоб этого человека не стало!)

— Шо̀ тамо? Эй?

Доносит разведка:
Это коммунистический взвод.
Там агитатор кричит из-за ветки:
— Верните народу конский завод!

А голосина Дылде знакома:
Наверняка председатель ревкома.

— Коня! — свирепо сказал батько.
    Батьке подводят лошадь.
Рука не успела холки взъерошить,
Как тело вымахнуло легко,
И конь, выгибая гривастый гребень,
Колоколом ударил о щебень.

Страшный глаз оглядел, как зверь,
Казацких чертяк, киргизских шайтанов,
Батька
        прикинул
                    податаманов:
Дылда, Мамашев, Маруська, Зверж,
И, видно решив, что пойдут на рожон,
Саблю вытащил из ножён.

Сабля, сабля, булатное жало!
В ней ядовинка хозяина есть.
Сабля с хозяином переживала
Хмель, упоенье добычей, месть.
В этом литье, в этом сизом сплаве
Скрыт до поры змеиный полет,
Но нынче превыше свиста о славе
В хищном металле любовь поет.

— Айда, нашша!
                В гору с налета.—
Коню передался и жар и озноб.
— Геть! Раздымися, адова голота,
    Сердце-печенки-гроб!

Бьет пулеметчик. Режет огнем.
Кони взлетают. Рушатся кони.
Раненый конь под убитым конем
В страшном хрипе бьется в агонии.

Но атаман, доскакав до леска,
    Жжиг по выстрелу саблей!
И покатились вдоль тесака
    Первые алые капли,
И, обезглавленный, съехал в ров
Солдат Никодим Ветров.

Но из-за трупа вылез Хомич.
Нет, не прóстит он батьке кобылы!
С минуту глядели сыч да сарыч:
Ээх! — и в коня вонзилися вилы.

Дико взвивается грива в дым.
В небе — пара окованных ног.
Брызнул в горло лунный клинок
По самые никуды... Мм!

Гривы, гривы... Усы да чубы...
Лошадиные зубы, зубы.
Конь за конем через ров, через яр.
Бурка тучей вздымается яро...
Як выйшла над гаем сизая хмара,
Сизая хмара, багровый пар.

ГЛАВА V

Буранск — город сытый. Хлебный вывоз
Три миллиона, бывало, в год,
Кожье, джебага, пушнина, грива,
Мясной и молочный скот;

Жирные залежи голубой соли
Двести верст по окружности;
По берегам трава на раздолье
Стала в войну еще дюже расти.

Там сайгачата пасутся в дикости.
Зём по-над Яиком плюнешь — растет!
Сочные поймы некому выкосить,
Их пожирает степной костер.

А рыбы-то, рыбы! Судак, жерех,
Восемьсот тысяч севрюжки одной,
Черной икрою плещется в берег
Яикушко, золотое дно.

Невод у этих, багор у иных.
Дует моряна, и по моряне
На мытых расшивах плывут поморяне
Овчинниковых да Махориных.

А утром раненько в синий ковыль
Капают дегтем гужи на Саратов,
А их доглядает брюхатый старатель
Махориных да Овчинниковых.

Казацкое царство. Казачий почин.
Крепко жили станишные братцы,
Всё кулугуры-старообрядцы,
Всё шепелявые бородачи.

Триста лет, как черный смерд,
Ролейный закуп, холуй, челядь
За Яик ушел на жизнь али смерть,
Позабыв на Руси, как жамкает челюсть;

Триста лет, как эти края
Окармливал пóтом аж до Иргиза,
Булатом поскребанным башку кроя́,
Кровью истекая от копья киргиза!

Триста лет своевольный круг
Войсковых атаманов, старшин, хорунжих
Оберегал эту воду и луг
От восточных, северных, западных, южных...

И жизнь пошла — не надо вольготней!
Что ни казак — пятьдесят десятин,
Что ни хутор — голов до сотни,
До тысячи и до десяти.

Вот в силу причин каковых
В соленом золоте на благолепье
Боем стояла казацкая крепость
Махориных да Овчинниковых.

И когда казакам доложили, что нехристь
В соседнем краю изымает зерно,
И когда улялайцы с шашкой наехали
В славной лихости озорной,

И когда понеслася песня про елки,
Где рубанул по огню тесак —
Из рога табачок с вязовою золкой
Понюхал истово уральский казак.

Натянул он верблюжьего пуха чапан,
Полушубок мерлуший, крытый китайкой.
Дубной тулуп. Соленая нагайка.
От дурного глаза размолотый пант.

До батьки задумал податься казак.
Разведать, стало быть, что и как.

Сели, поехали. В первой паре
Шествуют два вороных в загаре,
Красноостистых два вороных —
Двое седых кавалеров на них.

Дальше в гармониях и баянах
Сотня соловых и сотня буланых,
И под конец, за чубáрем чубарь,
Сотня последняя: конь карь.

Пусть поглядит Улялай на станишных:
Каждый уральщик сам по себе пан.
Одежда-то станет не в медный семишник —
Дуб, мерлушка, верблюжий чапан!

Гремят старики копытáми по пашне,
Бороды заиндевели, от самих пар.
Вот уж вдали буранские башни,
А под Буранском... Неужто базар?

Базар и есть. Палатки, палатки.
Цыгане божатся, как на ятке.
Орет с верблюда киргизский бай.
Визжат поросята. Мычит бугай.
И, позабыв, что это на фронте,
Ходит шпана, натянувши берет:
Слямзить, стырить, сдонжить, сбондить,
Слящить, стибрить, спурить, спереть!
И всюду к тому табачище курят,
И уж, понятно, под звон пятаков
Шевро меняют на лисьи шкуры,
Пускают в бой петухов:

Хоть червонный и не хочет,
Хоть пытается уйти,
Но рябой бедовый кочет
Повстречался на пути.
Вот столкнулись, подлетели,
Носом к носу — и опять!
Хоть червонный Петька в теле,
Но рябого не пронять.

Он, рябой, видать, бывалый,
Наторелый петушок —
У Петра уж гребень алый,
Все тяжеле и прыжок...

Что за прибыль нам в силенке,
Если норов не тово?

Шустрый кочет, как цыпленка,
Щиплет, тюкает его.

Раз за разом, так и этак!
Вот уж петел на одре.
Победитель напоследок —
«Кукаре...» и сам помре.

Кругом делово обсуждают умелость,
Клювы, шпоры и гребешки,
И снова царская сыплется мелочь,
Опять на кон летят петушки —

И все это как-то неистово тщилось
Быт создать в этой страшной яме,
А пó небу хлопало и тащилось
Черное дырявое воронье знамя.

Это и было здесь настоящим!
Недаром такой же траурный стяг
Над балаганом являл проходящим
Белый череп на белых костях.

Там атаман. С любовью поздней
(Лет шестьдесят на его горбу)
Вздыхал на барабанчике в детской позе:
Локти в коленки, мизинцы в губу.

А на овчинах, пахнущих мятой,
Видя какие-то дивные сны,
Спит заплаканная Тата,
Вздрагивают стрелки мокрых ресниц.

Милое такое, в паутинке симпатии
Личико, где от подушки наспан узор.
Как трогательна эта кисть ее платья
    В шкурах азиатских орд.

А батька сидит в небывалой грусти
И только вздыхает, серьгою гремя,
И только шепчет: «Тата... Татуся...
    Цацочка ты моя...»

Как он наивен, старая лисица!
Не разбудить бы ее невзначай...
От сна у ней носик жирком лоснится,
Дыханье пахнет, как теплый чай.

Стремянным ухом чуть приложился:
Слушает нежный поддув ноздрей,
И хрящ ушной неуклюже пружинился,
Сердце сгорало, как на костре.

Что человеку нужно еще?
Нет никого на свете счастливей!
Вот он сидит, нелюдимый, сивый,
И от рыданья дрожит плечо.

Нет, до любви ее не доживешь.
— Кони где? — завывает Гунтер.
Батька в сущности только унтер,
        Только здесь он и вождь.

А там, под гунтеровским началом,
Руки по швам: «Так точно!» — и всё.
Где уж наперекор генералам
Унтеру покорить ее...

Значит, не станет он мчаться в горы.
Пусть дожидаются. Ни черта!
Горе не в этом. Но в том-то и горе,
Что даже и здесь он ей не чета.

Глянул на женщину, грустно моргая,
И вдруг показалось ему, что он
Видит сон ее: тайный сон,
        Где образ Георгия Гая.

Да, да... Когда кончился в ельнике бой,
Дылда, ну, этот... чей батька Ерема,
Сказал, что меж пленников,
                                        хилый собой,
        Сам председатель ревкома.

Батька Дылду послал за ним.
Приводят. И что тут случилось с нею!

— Жорж! —
Кидается прямо на шею,
Зовет его милым, близким, родным.
А тот очкастый, как в землю врыт:
— Вы ошибаетесь! — говорит.

Батька женщину вытянул плеткой.
Женщина об землю и на крик!
А у «очков» заходил кадык —
Перехватило в глотке.

Тогда атаман заорал: — Разменять! —
Женщина взвыла уже не от боли:
— Меня убейте! Убейте меня!
Это не Жорж... Это сходство — не более.

Но пленный раздумал и произнес:
— Нет, ошибаетесь: я тот самый.
Позвольте, Кирьяк Михалыч, вопрос:
Что вам дадут мои кости в яме?
А будь я жив — возможен обмен:
Георгий Гай, председатель ревкома,
Станет монетой очень весомой,
Когда атаман попадется в плен.

— В плэн! Атаман? Да ты шо? Ты кому?
А ну-кось, Дылда, покажь куму!

«Кума» оказалась простой удавкой.
Бандит полулежа (видать, привык!)
Двинул плечом — и змейка из травки
Захлестнула кадык.

Но в батьке сразу проснулся политик:
— А? Може, правда? За батьку — Гай? —
И вот в шатре на ракушечных плитах
Кувшин кумысу да каравай,
А на цепи — спаси его, спасе! —
Предревкома, хранимый в запасе.
Невдалеке жеребец орет —
Вой омерзительно грубый:
Это коню, разодравши рот,
Червонцы клепают на зубы;

А где-то кобылка, не разобрав
И рев почитая зовом,
Жуя зеленое с бирюзовым,
Ему отзывается среди трав.

И слыша этот звериный шум,
Хоть человеческого не втратив,
Гай, стыдясь направления дум,
Вспоминает о Тате.

Тата... Он ее не узнал:
Девочке было тогда лет пятнадцать.
Прелестная девочка, надо признаться!
Однако журфиксы, за балом бал,
Пудреницы, флаконы, гребенки
Были настолько чужды ему,
Что он ничего не заметил в ребенке,
К тому же — скоро попал в тюрьму.
И вдруг, оказывается, она
С детства была в него влюблена...
Впрочем, едва ли. К чему обольщаться?
Ведь это же так естественно: он
В этой гнусной стихии мещанства
Напомнил ей отцовский салон.
Отсюда порыв этот, слезы отсюда,
«Родной» и «близкий»... О да! Покуда!
А поглядеть на нее бы тогда,
Если б схватили его господа?
И Гай легко забывает о ней,
Слушая перекличку коней.

Какой счастливец Сашка Седых!
Сначала при штатской его посадке
Он чуть ли не тут же летит с лошадки,
Упал на корни, оглох и затих.
Но вдруг кобылка к нему подползла...
(Вот уж поистине, конь — это личность!)
Контуженый лег поперек седла,
И лошадь с ним ускакала отлично.
А мой-то рыжий, этот дурак,
От спешенного ушел в буерак —
И вот Георгий, накрытый чумом,
Прикованный на короткую цепь,
Старается слушать буранскую степь,

Судьбу угадывая по шумам.
Но все ему тут знакомо пока:
Говор с Уральска, голос из Ливен...
А это что?
Издалека
На лагерь хлынул железный ливень.
Проходит цокот первой волны:
Дыханье лошажье в коротких всхрапах
И запах! Аммиакальный запах!
Древний скифский запах войны.

За первой вторая и третья волна.
Все проясняется понемногу...
Три эскадрона. Картина ясна!
Видимо, Гунтер послал подмогу.

И снова гул. Он как будто далек.
Но сразу в низину из-за увала
Лязг буферов и шум поддувала,
        И хрипло рявкнул гудок.
Поезд, поезд... Откуда? Чей?
Наверное, Гунтер шлет палачей:

— Гей, атаман!
                    — Улялаев!
                              — Батя!

Тата очнулась: грохот и звон...
Батька, державший кисть ее платья,
Рванул эту кисть и выбросил вон.

Вышел. Вдали паровозный дым.
Быть может, это его трагедия?
Но сотни казачьи стоят перед ним:
        Одна, другая и третья.

И, ни о чем не спросив стариков,
Он только глазом повел на поезд —
И Дылда, ярый, будто в запое,
Гикнул и сгинул в звоне подков.

— За мной! — старикам завизжала Маруська,
Мамашев грозно: — Айда! Олдырдым! —
И — нечего делать — казацкая музыка
С места в карьер понеслась на дым.

Паровоз поперхнулся, вплывая в хаос:
Кони, сабли... Как на войне!
Кондуктор выскочил на вестипгауз,
Крича, что он беспартийный вполне;

Уполгубтоп, зеленый от испуга,
Не знал — сказать: «товарищи» или «господа»,
Но все же объяснил, что в цистернах уголь,
А нефть в вагонах (только путался в пудах).

Но смазчик крикнул: — Эй, вы! А ну-кося:
Будет расстрел? А не то до утра
Надо б еще перестукать буксы
Да подвинтить кой-где буфера.

Смазчик! Здóрово! Сердце кружи́т,
Словно его опьянили песней.
Есть ребята, с которыми жить
И погибать бывает чудесно.

Но о расстреле покуда молчат.
Локомотив, извергая чад,
Как бы внимает конскому топу:
Он тихо шипит и участи ждет.
И вот гражданину уполгубтопу —
Подводит коня Максим Живоглот.

Уполгубтоп на глазах поседел,
Уполгубтоп на мерина сел.
Расставив локти, раздвинув коленки,
По-бабьи валенки разворотив,
Он едет куда-то. А прочие пленники
Меж тем приглушают локомотив.

Где-то над рытвиной прыгнул мерин.
Валенок уполгубтопа утерян:
Едва удержавшись на арчаке,
Он дальше едет в одном чулке.

Все это, в общем, подобно бреду.
Поезд остался уже за бугром.
Уполгубтоп... Куда они едут?

Уполгубтоп вспоминает бром.
Вот и низина. Бандитский чум.

Черное знамя — череп и кости.
Сидит атаман, суров и угрюм,
Страшным глазом меряя гостя:
— Слухай, туварыш уполгубтоп!
Я нэ яка-ста шкурёха паньска:
Дашь «лимон» — допущу до Бураньска,
Нет — расстреляю, могила-гроб! —
И батька фукнул от тяжкой нагрузки,
Уверенный, что говорил по-русски.

Уполгубтоп воззрился в него:
Что это? Чудо чудес? Волшебство?
Три миллиона на черном рынке
Стоит в Буранске фунт табаку.
Как же не дать цветные картинки
        Этой балде-казаку?

Уполномоченный умилен...
Для виду нахмурился, взял карандашик —
И вот среди моря папах да фуражек:
— Тыща... три тыщи... сто тысяч... миллион!
— Всё?
— Всё!

Сгребнув чистогана,
Батька в небо пальнул из нагана.
В ответ за бугром загремел паровоз,
Дым подымается из-за плеса,
Вот уж труба, кулисы, колеса —
Он к самому чуму вагоны привез.

Батька денежки прижимает,
Ручку вежливо пожимает,
Но с тендера что-то кричит кочегар,
О расписании беспокоясь —
И четкой чечеткой через Чаган
Помчался в чаду
                                        мимо дач —
                                                            поезд.

Березки одна за другою бегут,
Слушая поезда ровный гуд,

И, от гуденья этого шалы,
Сами летят под колеса шпалы.
Но вот, объятые свистом паров,
Маховики и кривошипы
Покрыли путь — и в сифонном шипе
        Состав влетел на перрон.

Еще комендант с диспетчером лается,
Еще колеса тянули «си»,
Но теплухи — бабáх! — распахнулись... и
        Вместо угля —
                        улялайцы.

Дым пальнул в музыкальном гаме.
Пулеметы поливали.
                        Конница в облет.
Тройки, воздух пеня ногами,
Жжеными копытами шипели об лед.
Снимая с налету пикеты стражи,
Скачут бандиты, черные от сажи.

— Где комиссарики? Где милиция?

Сабли турецкой луны ясней.
Срубленные пальцы ощупывали снег,
Туманно глядели мертвые лица,
Мерзла черно-лиловая кровь,
Оползая на снегу географической картой.
Синий денек от пожара багров.
К вечеру стихло. Двадцатое марта.

У здания театра афиша: борцы,
Водевиль «Вот так муж!» с участием Ауэр,
А вверху на казацкой пике — траур:
        Череп и скрещенные берцы.

ГЛАВА VI

Чалая козлица с мокрыми ноздрями
Сапнула воздух и сказала: «Май!»
Но она ошиблась: был только март,
Хотя уже снега кипели в каждой яме.
Клочочки, сучочки да птичий пух
Кружились, крутились в топленом солнце.
С горячим гребнем черный петух,
Сойдя с ума, по улице несется;

Березки, видя во сне друг друга,
Таятся и томятся в молчанье,—
И всюду чудесно пахнет лучами,
Хотя сиверком еще дышит округа.

И вдруг шел дождь, тормошащий зелень,
Швыряясь гвоздями все озорней!
И лужи
изумленные
глазели
Стоглазьем лопающихся пузырей.

А по лужам, взметя воробьиные стайки,
Ландо, экипажи и таратайки,
Разбрызгивая снеговую слизь,
Со всех сторон к театру неслись.
Там — штаб.

Двери ударятся.
Выкрик: «Ермак!», «Сайфулли́н!», «Огоньков!»
И, паром дымясь, весь день ординарцы
Гоняли своих мохнатых коньков.

И вот наконец гундосый квак,
Желтый фонарь, голубая шина —
И плавно подкатывается машина
С маркой на кузове: «Бенц. Москва».

И, штарчешки шаря галошей крыло,
Сам Махорин в собачьей шубе
Подбирает скелет, а бандюга трегубый
Перед ним открывает дверное стекло.

За ним багровеющий «мерседес»
С цилиндром кареты, лоснящимся нагло,
И лихой казачина с шашкой наголо
Купе открывает: «Пожалуйте. Здесь».

А дальше — заезды бричек, саней,
Мимо больницы, мимо школы —
Шинель николаевская, красный околыш,
Тонкая поддевка, песцовый снег.

И пока партер расцветал в нарядах
И щурился туз, моргал иерей —
Плакаты спускали с двух галерей:
«СОБСТВЕННОСТЬ — КРАЖА!»
«АНАРХИЯ — ПОРЯДОК!»

Последний плакат понравился всем,
Но первый (мысль анархиста Прудона) —
Совсем не для Яика или Дона.
Впрочем, посмотрим... Ударило семь.

Вошел Улялаев, за ним Маруська,
Зверж вошел, Мамашев вошел,
И, поклонившись в пояс по-русски,
Мрачно уселись за траурный стол.

И тут из-под бархата, где череп и кости,
Мимо кулисы, где розовый куст,
Взошел на трибуну Панкратор Куц
И брякнул хозяевам:

— Дорогие гости!

(Желтая романовка, фетровые бурки,
Каких, однако, не носят на востоке,
Торжественное «я» отаращенных буркул,
И от лапок пенсне отеки.)

Дорогие гости! Наша программа
Отнюдь не трехтомный какой-нибудь свод.
Мы заявляем открыто и прямо,
Что будем стоять на страже свобод.
Пускай для всех поют соловьи!
Ширяйте, орлы, и паситесь, лани!
Свобода мысли, свобода любви,

И вообще — свобода желаний...
За эти святыни, друзья мои,
Мы, анархисты, ляжем костьми!

Гай, как и все молодые люди,
Был в сужденьях о людях скор —
Он тут же решил без дальних прелюдий,
Что Куц — дурак и вызовет спор,
Ибо едва ли песцовый мех
Примет его «соловья для всех».

Но зал уже понял, что вывод ясен
И страшный плакат вполне безопасен:
Здесь каждый
охотно
встретить готов
Свободу мышей при свободе котов.

Овчинников, бывший сначала не в духе,
Теперь ухмыляется, как налим;
Махорин зажмурился с видом таким,
Как если бы спичкой копался в ухе;
Глядит иерей, спокойно моргая,
Словно бы слушая святцы —
И вот, к удивленью товарища Гая,
Зал разразился овацией.

Аплодисментов собрав урожай,
Оратор с усмешкой спускается в ложу,
Где дрыхнул охранник Пупко полулежа
И смирно сидел его пленник — Гай.

А в это время на сцене шло
Невероятное зрелище,
Для коего Яик, станица, село
Явственно не дозрели еще:
Батька, лапы скрестив на груди,
Гаркнул кому-то за бархат: — Иди!

И вот вышел Сенька. Гол как сокóл.
Впрочем, сóкол не очень гол,
А этот Сахалинчик...
Хоть бы трусы́!
Если даже мама родила его в сорочке,

То и эту сорочку он сбросил. Короче:
На нем были только одни усы.

Но он не дрейфил. Наоборот:
Стоял себе и дул на мурашки по коже,
Пока от хиха и хоха корежился
Этот непривычный к ощущениям народ.

Сенька-шут рассмешил даже Гая...
Но батька встал, растопырил пять
И стал говорить,
                    с трудом избегая
    Священного слова — «мать»

— Гражданы!
Прыйшов найщастлывейший час.
Ну, плакать про это вы вполне достойны:
Вот видите,
            як ходють
                        богоносные воины,
Кажнодневно умирающие через вас?
Теперча, значить, наш анархицкий сход.
Прбсыть от вас, як дите революцыи,
Сто тысяч карбованцев у валюте,
А то —
        кажпый пятый
                    пойдёть
                            у расход.

Батька так это кротко сказал,
До того нежно и чуть ли не слезно,
Что зал призадумался. Думает зал:
Сенька Сенькой, а дело серьезно.

Овчинников крикнул: — Нельзя ли без драм?
Ведь наше знакомство не на секунду! —
Шипит Махорин: — Щубшидию дам,
Но только пушкай поручится Гунтер.

—А шо мэни Гунтер? — вскричал батько,
Да так, что очнулся охранник Пупко,
Но, обнаружив, что драки нету,
На весь на зал захрапел по секрету.
Куц — Гаю: — Милый студент!
Уверен, что все пройдет без загвоздок,

А потому пойдемте на воздух.
Но вы от меня не сбежите?
— Нет.

— Ол райт! На базаре имеется таверна,
А в ней экзотический закусон.

Куц зашагал геометрически размеренно,
Как человек, планирующий пищу и сон,
И очень фальшиво, но очень храбро
Запел какую-то абракадабру:

«Навуходоносор. На-
вуходоносор. Навухо-
доносор. Навуходоно-
сор. Навуходоносор».

— Насколько я вас понимаю, Гай,
Вы заказали бы «деволяй»?
Но в каждом городе надо есть
То, что характерней, а не лучше.
За рынком тут забегаловка есть:
Ее специальность — свиные уши.
Ели когда-нибудь? Нет? Ага!
Не любопытно? Вы постарели!

Он делал на каждые два шага
Третий шаг длинней и быстрее.

«Навуходоносор. На-
вуходоносор. Навухо...»
(Панкратор был, как сама весна,
В приподнятом состоянии духа.)

— Так вы не сбежите, а, баронет?
Право, не стоит. Скажу в утешенье:
Смерть есть выход в любом положенье,
Но положенье, где выхода нет.

Но как он храпел, этот ваш осел...
А зал-то, зал: дикари, хоть и «бенцы».
Я так стосковался по интеллигенции,
Что ради вас и на риск пошел.
Цените!
А это что за толпа?

О! Это ярмарочный «Петрушка»!
Да подвиньтесь же вы наконец, старушка!..
(Не люблю России — тупа.)

Толпа всегда, конечно, пестра.
Но эта была особенно пестрой:
Здесь, на миг отойдя от костра,
Шашлычник-киргиз раздувает ноздри,
Тут задержался проезжий вор,
За ним на веревке корова,
Но улялайцы, как на подбор,
Один фееричней другого:

На этом костюм, алеющий дó крови —
Бáрхат-шапжан в золотых кистях!
(Скроили его из портьер кинематографа,
И смахивал он на драконовский стяг.)
На том сапоги с крокодилами схожи
(Из чемоданной резаны кожи);
А этот скромен — он только писец —
На нем с хвостом голубой песец.

Голос

Граждане России! Наше почтение!
Сейчас начинается представление.

Схвативши зá руку Гая, Панкратор
Протиснулся ближе — и в тот же миг
Пред ним цыганские ширмы воздвиг
Кукольный театр,
А там вылетает кукла-солдат,
И сотни глаз за Петрушкой следят.

Солдат

Генерал, буржуй и поп
Нам хотели сделать гроб.

Голос

Как так?

Солдат

Так и так.
Нам хотели сделать гроб.

Появляется кукла-генерал.

Солдат
(отдавая честь)

Ваш-сок-дитство, генерал!

Генерал

Смирно! Ты ли здесь орал?

Солдат
(оробев)

Да-с... Я-с...

Генерал

Так-разтак,
Али я тебя не драл?

(Дает ему зуботычину.)

Мне перечить не моги:
Оближи мне сапоги.

Голос

Как так?

Генерал

Точно так:
Оближи мне сапоги.

Солдат

Долго мы сперва молчали,
Ну, а после отвечали...

(Бьет генерала прикладом по голове.)

Голос

Ух, как!

Солдат

Так и сяк —
Вот как мы-то отвечали.

Генерал убегает, входит кукла-капиталист.

Солдат

Тут приперся к нам буржуй.

Буржуй
(протягивая на удочке головку воблы)

Получай и не горюй.

Голос

Как так?

Солдат

То ись как?

Буржуй

Получай и не горюй.
Если будешь мне служить;
То роскошно будешь жить.

Голос
(иронически)

Вот так?

Буржуй

Только так!
Да, шикарно будешь жить.

Солдат

Мы, ребята, не смолчали:
Вот как мы-то отвечали!

(Бьет буржуя по голове винтовкой.)

Голос

Так, так его, так!

Солдат

Вот как мы-то отвечали.

Буржуй убегает, появляется **кукла-поп.**

Наконец, приходит поп,
Буржуа́зии холоп.

Голос

Как так?

Солдат
(сокрушенно)

Да уж так.
Буржуятины холоп:

За рясой попа крадется **генерал**, за генералом **буржуй.**

Поп

Сыне, гляньте в небеси:
Боже скажет вам мерси.

Голос

Ах, так?

Поп

Ей-ей, так.
Боже скажет вам мерси.

Солдат

Мы и тут не промолчали —
Вот как мы им отвечали!

(Бьет попа, генерала и буржуя.)

Зрители

Так, так его, так!

Солдат

Вот как мы им отвечали!

Хохот. Кукла-солдат победоносно стоит над телами своих врагов, свисающих с ширмы головами вниз.

Генерал, буржуй и поп —
Все щелчок получат в лоб.
Мы же с вами справим тризну
И на гнусных их костях
За рабочую отчизну
Водрузим победный стяг!

(Поднимает винтовку с красным флажком на штыке.)

Куц закричал: — Ах, негодяй!
Здесь агитатор — даю вам слово! —
Он яростно сдвинул ширмы — и Гай
Перед собой увидел Смирнова.
Правда, учителя он не знал,
Но понял, что это не кукольник прыткий.
А Куц уже явно шел на скандал:
— Где ты, собака, достал агитку?
А? —
Смирнов пожелтел, как лист...
— Какую агитку? Я нищий калека.—
Георгий сказал: — Оставьте, коллега.
Может быть, он коммунист-анархист?

Но Куц вопил. И вопли, как зуд,
Толпу подмывали на самосуд.
Толпа и не думала расходиться...
Напротив: Смирнов папахами сжат.
Но вдруг на трехпалой его рукавице
Опять появилась кукла-солдат.
Воззрясь на Куца, потешно бушуя,
Она будто клюнула носом его:
— Я бил генерала, попа и буржуя.
Я за народ! А ты за кого?

Кто угадает душу толпы?
Как зарождается в ней стихия?

Затроньте струны ее святые —
И можно геракловы рушить столпы,
Но если заденешь низкое в ней,
Она любой темноты черней.

Куц рассчитывал на угар,
Он думал хмельную поднять ватагу,
Но кукольник ловко отвел удар,
И юмор его перешел в атаку —
И вот уже прыснул чубатый бандит,
Захохотал пластун-казачина,
Закукарекал чинуша без чина,
Из тех, что копейку свою бередит,
А конник за шашку и, спьяну рыкая,
Вдруг заорал: — Лягаш! Не морочь!

Куц ухватился за́ руку Гая
И зашагал прочь.
Так прошли они рынок в молчанье.
Панкратор держался по мере сил...
«Дикость!» — вздохнул он. Потом: «Мещане!»
И вдруг сорвался, заголосил,
И было ясно, что дело не в том,
О чем говорил он, а в том было дело,
Что эта «стихия» ему надоела!
Что он бы взорвал ее! Всю! Гуртом!

— Вот вам, Георгий, наш колорит!
Во-первых, язык. Это что-то ужасное.
Казак шепелявит, глотает гласные...
А как атаман говорит?
А как говорят его люди? Боже!
Особенно говор жен.
Какая-то помесь пшеницы с рожью,
Украинско-русский жаргон.
Зачем же, скажите, нужен Тургенев?
Литература? Стиль?
Речь понятна? И к черту гениев!
Правила им, как медведю костыль.

Он шел и нервно вздрагивал шеей,
Он шел и шептал: «Шпана! Мелюзга!»
Но делал по-прежнему на два шага
Третий шаг длинней и быстрее.

Красная лужа конской мочи,
Зеленая вывеска: омар во фраке.
Трактир «Растабаровка».

— Мальчик, очисть!
Пиво, свиные уши и раки.

Острой бородки гофрированный каракуль,
Смех через ноздри при сжатых губах.
— Мальчик! Скоро там? Раки! Раки!
Тапер!
— Что прикажете?
— Брамс или Бах.

Послушный тапер заиграл «Марусю»,
И эхом ответил пустующий зал.
Панкратор поморщился и сказал:
— М-да... Здесь поистине пахнет Русью.

Для Гая фигура Куца ясна,
И все же что-то странное в куцевской манере:
— Ого! Очевидно, и вправду весна,
Если даже распускаются почки в мадере.

Отбросил меню, на стены взглянул,
Увидел утят, притворно зевнул
И снова завел, как заправский лектор,
Хоть в зале были пустые места:
— Западная живопись изрядно пуста,
Но каждый художник там — архитектор.
Возьмите Матисса. Его панно,
Где пляска локтей и танец таза,—
Это же исступленье экстаза!
Все там как будто опьянено!
Но в нем же культура чертежных работ:
Какая железная компоновка!
Там математика. Точный расчет.
Ловко?

(Куц не заметил, как с улицы в зал
Вошел все тот же кукольник нищий,
Как, затаившись за стойкою в нише,
На Куца трактирщику указал,
Как в той же нише, дороден, сиз,
Возник и скрылся какой-то киргиз.)

— Или возьмем, допустим, Пика́ссо.
Внешне сумбур. На краске — песок,
Какая-то нота. Афиши кусок.
Но это безумие лишь для показа.
На деле же все это крайне тонко
Расчерчено, выверено, учтено.
Лирический вой городского котенка?
Но вой по нотам! Как и в панно!

А мы? Да вот хоть под этим карнизом:
Ясность! Гид: никаких услуг!
Уточки пла́вают... цветики... луг...
Но по приемам — сплошной кретинизм.
Где геометрия внутренней формы?
Зачем эта уточка тут, а не тут?
Не ждите ответа. Увы. До сих пор мы
Не понимаем, что стиль — труд!
В иску́сстве наивности нет. Это враки.
А наш «стиль рюсс» — это низший сорт.
О, родина-уродина!
Мальчик, ч-черт...
Где ж наконец раки?

Но вместо мальчишки к нему подходит
Разбухший от местного пива
Здор-ровый трактирщик дядя Володя
И говорит учтиво:
— Я, извините, в момент подам
Все, чего заказали.
Однако негоже таким господам
Сидеть в заплеванной зале.
Дозвольте предло́жить вам кабинет!
Разве ж не понимаю?
Что же до раков, то раков нет:
Раки ловятся с маю.

И он в кабинет с почтеньем вошел,
Бидон самогону поставил на стол:
— Приятно кушать!
— Любезный, послушай:
Уши!
— Уши?
— Свиные уши!

И дядя, спустивши облако штор,
Ушел, преклоняя чело и брюхо,
А Куц плотоядно ладони потер
В чудесном расположении духа:
— Вот одна из житейских гримас:
Воспитанные в христианском лоне
Люди, перед едою молясь,
Набожно складывали ладони.
Но мощно жарится бычья грудь!
А слюнки — они у любого святоши...
И люди, молясь уже как-нибудь,
Нетерпеливо терли ладоши.
Прошли века — и остался жест,
Молитва же — ах! Давно улетела...
Таков же, юноша,— вот вам крест! —
Конец любого идейного дела.

Он сразу хватил целый стакан,
Задохся и замер, как истукан.

«Гм...— подумал Георгий.— Игра?
Допустим. Но ясно: умен, как дьявол,
И в речи перед купцами лукавил.
Зачем же Буранск ему, эта дыра?
Зачем ему улялаевцы эти,
Самые чуждые люди на свете?»

И Гай положил ему нá руку руку —
Взгляд его был нестерпимо чист:
— Уважаемый коллега! Сознайтесь, как другу:
Вы ведь не анархист?

Куц

Я? То есть как!

Гай

Ваша точная поступь,
Какой от стихийной натуры не ждешь,
Брезгливость к тому, что ясно и просто,
Живопись, пóнятая как чертеж,
Наконец, эта выходка ваша с «Петрушкой»,
Желанье на казнь его обречь,
После которого вся ваша речь

Перед купцами — не стоит полушки...
Кто же вы? Только не меньшевик!
Слишком вы для него стилистичны.
Эсер? Но и тут ощутимый сдвиг:
Русь вы приемлете только столичной.
Верней же всего — прожженный гурман,
Рыцарь балета, скачек, «железки»,
Типичный петербуржец, чопорно дерзкий,
С сердцем пустым, как и ваш карман.
Мне так и чудится: английский кепи
Серый с искрой в pendant к пальто,
В едких губах папироса «Скепсис»,
Приподнятая бровь и дежурное: «Не то!»
И вы — вы сильны. Нет, больше: могучи
Этой вечной усмешкой бритого сатира
Над всем, что зовет, увлекает и учит
Святой банальности о счастье мира.
О да! В салонах любых «беляков»
Вы просто дьявол на огненном троне!
Но, к счастью, российский народ таков:
        На него
                не действует
                        ирония.

Куц засмеялся: — Чудесно, Жорж!
Бокал первача — и такие успехи?
Я пойман на удочку, словно ерш.
Увы. Придется снимать доспехи.
Ну что ж. Вы правы: я вовсе не тот,
Каким меня видят мои анархисты.
Хотя на трибуне Прудон я истый,
Но и Прудон для меня анекдот.
Однако бега, «железка», балет
И демонизм в масштабе салона —
Здесь вы, коллега, по юности лет
Промахнулись довольно шаблонно.
Пусть я по виду гражданский лев,
Эсеры необязательно хряки.
Так, например, член ЦК Азеф
Немало блистал в европейском фраке.
Нет, я эсер. И старый эсер.
Мой идеал с юных лет в эсерстве.
Но с Октября эсер уже сер!
Декрет о земле надорвал мое сердце.

Гай

Декрет решил аграрный вопрос.
Эсеры ж всегда мечтали об этом!

Куц

Да, но поймите, что с этим декретом
Эсерство умерло. Точка. Все-с!
В чем теперь, юноша, наша программа?
Все наши грезы, чаянья, сны
Одним ударом разрешены!
Психологически это драма!

Гай изумленно открыл глаза:
— Не понимаю... Простите... Вы пьяны?

Куц

У нас были цели, задачи, планы,
Русь отдавала нам голоса,
Ораторы наши гремели в Думе,
Мы за идею ложились костьми,
Мы были поэзией, черт возьми!
И вдруг идеал воплотился и... умер.
Вы понимаете? Боже мой!
Ни грез, ни мечтаний, ни чаяний...
Вот я живу анархистской семьей,
Пью самогон в этой грязной чайной.
А? Улялаевец! Я! Каково?
        Плохо, юноша, плохо...

Гай потрясенно глядел на него!
Непостижима наша эпоха!

Но философствовать не пришлось —
Вошли Аджибеев, Смирнов и Володя.

Куц

Что вам угодно?

Смирнов

Странный вопрос.

Аджибеев

Вставай, свиное твое благородье!

Удар — и Куц летит наповал.
Он закричал, но слабо и глухо.
Смирнов же, его ухвативший за ухо,
Поднял люк и спустил в подвал.
Но, пересчитывая ступеньки
И на последней сломав каблук,
Куц простонал: «Откупаюсь за деньги!»
Тут Аджибеев захлопнул люк.

— Ну, сокол! — сказал он Гаю.— Здоро́во.
Я с тобой цапался. Это уклон.
Забудем про это. А конский угон
Сейчас повторить приходится снова.
Сашкина думка верной была.
Я ведь не знал, что за этим Гунтер.
Ну, ладно. Сейчас дорога́ секунда:
Надо делать дела.
Пока подтянется Красная Армия,
Батька уйдет до Хорезма, до Гарма,
Поэтому ты летишь на завод,
Откуда ведешь ударные части,
А мы уж отсюда примем участье.
А? Согласен? Ну, вот.

— А конь у вас есть?
— Коня у нас нет.
— Купите.
— Не хватит, соколик, монет:
В этот, соколик, период шаткий
Выше аллаха сто́ят лошадки.

Но как дойдешь пешеходным путем?
Конь... Спасенье в коне... И тогда-то
Гай с надеждой вспомнил о том,
Что где-то здесь обитает Тата.

ГЛАВА VII

Тата робко сидит у гадалки.
Мыши сбежались к ней из щели́.
На стол летели пико́вые галки,
Бубны стучали, дороги легли.

Все это было и вправду похоже
На весь ее улялаевский быт,
Но Тата сидит с холодеющей кожей,
Тату легонько даже знобит...

Старуха ей обещает дорогу,
И деньги, и слезы, и деньги вновь,
Но Тата, кусая платочек с тревогой,
Думает: «Господи! Где же любовь?»

И вдруг затомила сладкая боль:
Пал налево трефовый король!

Он был сейчас бесконечно искренен:
Сердце червонное выложил он!
И Тата шла и шептала: «Влюблен...»
И в синих глазах озорные искры...

И каждый, кто шел мимо этих глаз,
Подумал, вздохнув о собственных ранах:
«Какая любовь в этом сердце зажглась
И как, наверное, счастлив избранник!»

И думал о том же дремучий дед.
Он ехал дань собирать по лабазам
И вдруг задержался. Глядит ей вслед
Своим единственным глазом.

Вот она ходит, его божество,
Сама как весна среди вешних почек!
А конь кивал, и грива его
Звенела струйками часовых цепочек.

Но что ей цепочки? Алмазы что?
Сан Улялаева, атамана?
Душа его Таты объята мечтой,
И не туманной, совсем не туманной...

Эх, если б Гая ему повстречать —
Он с колокольни проклятого сбросит!
Но жеребец, тихонько рыча,
Прядает... Повода просит...

Он как бы ворчит: «Впереди-то дела!
Времени мало... Знаете сами».

И звонко грызет золотыми зубами
Серебряные удила.

И снова шевельнулися пальцы-ковбахи,
Закованные в рукавицы из колец и перстней.
Опять цветные ленты рассыпались по шерсти,
Скручиваясь в перья на мокром карабахе...

А Тата шла, задушевно смеясь,
Занюханная плотоядным ветром,
Женственно перед ним склонясь,
Головкой, увенчанной бежевым фетром...

Ей почему-то по-детски смешно
От лужиц, от их пучеглазых буркул;
От индюка с зобастой мошной,
Который, подъехав, ей что-то буркнул,

И то, что в просветах налив голубой,
Что на закате он нежно расцвечен,
Что восхитительно жить на свете,
Когда в глазах полыхает любовь!

— Подайте, гражданочка, нищему, а? —
Тата взглянула:
— Какой же вы нищий?
— Скажите адрес, Георгий вас ищет.
— Жорж? А нет ли ко мне письма?

Но вылетела тройка, измазанная охрой
Едва ли не затем, чтобы ярче пестреть —
На хлопцах
гимнастерки
из портьер
кинематографа,
На ямщике по моде — белый песец...

И вдруг ямщик, засвистав игриво,
Свернул с разлета на тротуар,
И три вороных с разметанной гривой
Промчались, дымясь, как синий угар.

И нищий сгинул. Кто он? Откуда?
Тата стоит на дороге одна.

Но рядом развалины... Желтая груда
Мамайского камня с речного дна...

За ним закат в лиловатости алой,
Пред ним озерцо сплошных пузырей.
Безлюдно.
И Тата громко сказала:
— Гостиница «Лондон». Ждать в пустыре.

Дома Тата гадала на картах:
Слышал — не слышал? Придет — не придет?
То мчится на кухню, надевши фартук,
И там совершает переворот,
Подымет вдруг ураган па рояле,
Схватит роман, отбросит роман,
Смятые деньги сунет в карман,
Сыщет в белье изумруд на коралле
И вновь аккуратно сложит белье...
А как-то в рыданьях застали ее.

И цирковая наездница Лора
(Лариса142ованько, батькин трубач),
Вмиг нырнувши во тьму коридора,
К Маруське летит язычком потрепать,
Но та, как и следует командиру,
Ответила басом, хватившим вина:
— А ну ее к черту! Бесится с жиру!
А впрочем... Может, и влюблена.

Тогда Лариска, полная пылу,
Сбежала по лестнице в затхлой пыли
К зверженскому денщику Самуилу,
Цыгáну Богемской земли!

Хоть тот зачарованным соловьем
На скрипке пиликал Зуппе,
Она целовала цыганские зубы,
Чтоб утвердиться в счастье своем,
Чтобы уверить себя, что та
Ничуть не больше ее богата!
Меж тем наступила уже темнота,
И мимо них промелькнула Тата.

На черной улице ни души.
Вот и пустырь... Тата не дышит,

Но сердце так громко бьется в тиши,
Что кажется, будто звонарь его слышит!

— Кто здесь? Жорж, это вы?
—Я.—
Тата... Но ей отдышаться сначала.
Неслось пиликанье соловья,
Лошадь об пол деревянный стучала —
В тихом воздухе каждый звук
Явственно разносился вокруг,
Но этих звуков четкая стая,
Где-то смягчаясь душистой волной,
Странной прелестью обрастая,
Становится дрожью, слезами, весной...

Не потому ли Георгий молчит?
Но это молчание как магнит!
Оно... оно подобно мечтанью...
В звездном роенье ночной черноты
Тата смутные видит черты,
Всем существом отдаваясь молчанью.
И вот уже с этих духовных высот
Тоска оползает так ощутимо,
Как горький дым, проплывающий мимо.
Когда же он руку ее возьмет?

Георгий не был красив, но его
И не зачислишь также в уроды.
Но ведь любовь потому волшебство,
Что исправляет жестокость природы:
Сутки за сутками, день за днем
Живет паренек в обыденном виде,
А лирика взглянет на парня, и в нем
Что-то свое, особое видит...
Тате в Георгии больше всего
С детства нравились руки его.

Крепкие, плотные, в плавных мышцах,
Нисколько не бледные, но белы,
Они, витая в Татиных мыслях,
Были всегда для нее теплы;
Даже в бездействии, даже в покое
В них что-то мужественное, мужское,
Они тянули ее в забытье,

Влекли ее, волновали ее...
Недаром в ужасной этой разлуке
Тате мерещились только руки,
Только они, эти руки, несли
Душу ее из смрадной пыли,
И потому эта ночь, как милость,
Как чудо, воззвавшее к жизни прах,
Кинулась, хлынула, воплотилась
        В мысль о его руках!

Но вот затихло пиликанье скрипки.
Ларискин голос, высокий и гибкий,
Вдруг перешел на виду у всех
В тихий, грудной, прерывистый смех...
И Тата вся потянулась к другу,
Может быть, также за смехом таким...
Георгий мягко берет ее руку,
Тем же, быть может, чувством томим,
Но вдруг вздыхает... И Тата с испугом
Чувствует, как сиротеет рука.

— Нельзя нам, Тата, сегодня друг с другом.
Я знаю: вы... Ваша участь горька,
Но, милая...
                    (Что это? Снова причуда?)
Дайте мне вырваться только отсюда,
Помогите добыть коня —
И я вас выручу! Будем навеки...

Тата закрыла усталые веки.
— Конь? Откуда же он у меня?

Гай замолчал. Но теперь молчанье
Было сухим. Обрывается нить.

— Не знаю, право... В Буранске мещане
Без лошадей... Я могла бы купить...

Тихие слезы неслышно текут.
Он должен бежать! Его дело свято!
Но вот она здесь — *она*, его Тата,
А все его мысли не с ней, не тут.
Ну, что же делать? Он не Ромео.
А впрочем, свет изменился. Весь!

— Вот что. Я сделаю, что сумею,
Ждите меня до рассвета здесь.
В этом пакетике бутерброд,
Вот вам деньги на всякий случай.
Ну? Возьмите.—
                    Гай не берет.
Молчанье теперь нависает тучей.
— Ну что ж. Как знаете.

Тата ушла.
Когда же под ней заскрипела лестница,
На верхней площадке, крайне мила,
Конечно, ее дожидалась наездница.

— Поздно же вы, дорогая моя! —
Тон ее был по-ехидному сдержан...
Она ожидала слова «змея»,
Но Тата стучалась в комнату Звержа.

ГЛАВА VIII

Время течет медленно,
А жизнь проходит быстро.

У Звержа
            рука
                    медная
Бретера и биллиардиста.

А эта рука, быть может, могла
На памятниках простираться десницей,
Если бы жизнь офицера была,
Какой она ему снится.

Росту небольшого, в щеках слегка обрюзг,
Орлиные очи, брюшко, но плотность,
Хоть он приближался уже к сентябрю,
Но где же стихи о нем? Где полотна?
    Карьера военная где?
С юности предан гербам и коронам,
Увы — он командовал эскадроном,
Не будучи принят в гвардейской среде.

Он был офицер, как и все офицеры:
Одна дуэль и сто тысяч лото.
Жаль, но цвет его жизни — серый.
Это не то. Совершенно не то.
Но, не имея высокой пробы
В геральдике, доблестях и уме,
Он с юных лет шептал себе: «Пробуй!»,
«Рискни!», «Пытайся!», «Сумей!»

Он жил напряженно, как в полусне...
Только не упустить бы случая!
Плен? Швах. Но в пленившей стране
Произошла революция.

Так. Что же дальше? Австрийский взвод
Через Сибирь возвратится в Вену,
Но там офицеришкам так не везет,
Что хоть сейчас вскрывай себе вену.

Но здесь Россия! Это во-первых.
Россия! Страна безумных карьер!
Здесь на одних строевых маневрах
Рос любой иностранный курьер.

Вспомним хотя бы эпоху Петра,
Время Екатерины и Павла!
Немецкая клика частенько тут правила:
К немцам Россия щедра.

Теперь во-вторых. В такой-то России
Да еще революция. А?
Значит, разгул военной стихии...
Значит, на саблю большая цена...
И если б, допустим, был бы он лаком
Только до орденов и чинов,
Ему бы явиться к белым казакам —
И полк для него готов.

Но Карлу Звержу этого мало.
Зачем торопиться? Выждем пока.
Всегда он успеет на случай провала
Стать командиром худого полка,
Особенно, выдав себя за гвардейца.
Итак, не бросать своего угла.

Выждать! Полезнее приглядеться:
Может быть, есть покрупнее дела?
В самом деле: на карту глядя,
Ясно — по швам Россия ползет:
В стороны лезут Литва и Финляндия,
На Украине переворот,
Даже какая-нибудь Чита
И та, изволите видеть, столица.
И всюду правители... А? Мечта!
Везде исторические лица.

Но что, если в звездах небесного лона
И Карл свою звездинку найдет?
Пусть он меньше Наполеона,
Но чем же лучше его Бернадот?

Еврей Бернадот, французский маршал,
К цели своей шагал напролом:
Он шведов пленил гренадерским маршем
И стал у них королем.

Вот за такой-то заветной звездой
Карл Зверж и решил погнаться.
В какой-нибудь Сванетии засевши в гнездо,
Он станет шуметь о свободе нации,
Обороняясь, он будет свергать
В ущелья и бездны любую рать,
Но не преследовать сбитые армии,
С гор не спускаться, в драку не лезть.
Белым ли, красным — слава и честь,
Но в горы ворветесь — осыплем ударами!
И, доказав это громом и дымом,
Подготовленными вполне,
Он сванам покажется непобедимым
В очень несложной горной войне.
(Сам Бонапарт в расцвете сил
Огня Черногории не погасил.)
И Марс, оборвавшись на сванских хижинах,
Оставит их в покое,
даже станет покровительствовать,
И будет у сванов на троне хищник,
Чужой по вере и по крови́.

Но что же для этого нужно сделать?
Только одно: дождаться поры,

Когда улялаевцев буйную смелость
Не утолят уже больше пиры,
Когда они хлынут, допустим, на Каспий
И проиграют открытый бой —
Тогда-то он батьку повесит наспех,
В панике тут же заменит собой,
А там поведет на сванов орду,
Не трогая никого по дороге,
Займет плато и его отроги
И схватит с Эльбруса свою звезду.

Об этом-то он и думал сейчас,
Сидя без френча в трехногом кресле,
Тихо смакуя грядущий час
И говоря «когда», а не «если».

Но тут к нему постучались.
— Да! —
(Он сделал лицо проконсула Рима.)
И чудо вошло, как входит всегда:
Просто, естественно, неотвратимо.
Обычно — так уже повелось —
Тата Звержа не замечала.
Он тщетно приглаживал ежик волос
И улыбался ей для начала,
Затем улыбаться совсем перестал
И только глядел, наяву мечтая...
И вдруг — его идол пред ним предстал!

Спросит ли Тата щепотку чая,
Нет ли корицы, нельзя ли иглы —
Не важно! Но очень важно для сердца,
Что греза Звержа
из тайной мглы
Входит в комнату Звержа!

И вот уже он в застегнутом френче...
— Крайне счастлив! Вполне потрясен!
Одна из самых прелестных женщин
Посетила мой скромный притон.

— Приют — вы хотите сказать?
— Приют?
Но это, кажется, детское что-то? —
Она огляделась с усмешкой — и тут

Увидела в рамочке фото:
Мягкие загнутые ресницы,
Которым все явное только снится,
Которым не нужно поэтому сна...
Это
была
она.

В другое бы время Тата со зла
Мигом его довела до дрожи;
Теперь только бровью она повела:
— Я, кажется, нравлюсь вам, да?
— Мой боже!
Нравитесь? Ну конечно! Весьма!
Порой я просто схожу с ума.

— Литература! — сказала Тата.—
Все вы романтики на словах.

— О!
— Но себя вы любите свято.
— О! Я австриец. Точнее — словак.
Мадам ж судит, как россиянка.
Это неверно. О да! Нет, нет!

В душе у Таты заныла ранка.
Он искренен этот... кто он? корнет?
Ах, если б сегодня вместо корнета
Гай сказал бы ей это!

А Зверж говорил: — Такой красоты
Я не встречал еще. Donna nostra!
Ваши ресницы... Губы... А ноздри?
У всех — это дыры, у вас — как цветы!

— Ну, вот что! — отрезала Тата, дразня
Глазами, смотрящими не мигая.—
Отдайте мне своего коня!
— Зачем?
— Не спрашивайте.
— Для Гая?

Теперь уже он глядел ей в глаза,
И на висках проступили вены.
Тата вздрогнула. Нет, не слеза —

Страх отуманил ее на мгновенье...
Лгать? Но Тата слишком горда.
Не голос — дыханье ответило: «Да...»

Зверж призадумался. Этот приход
Для Таты, конечно, великий подвиг.
Так.
Его мысли приняли ход,
Свойственный чувствам из самых подлых:
Только большая любовь могла
Толкнуть ее на такое дело;
Тата, казалось, в душу глядела,
Но он понимал: в глазах ее мгла...

Значит, она теперь не отступит
И не доступна уже ничему.
Значит: хотя она Звержа не любит,
Может
отдать
эту ночь
ему!

И капитан, обмирая от счастья,
Мысленно прошептал: «Моя...»
Но тут же карьера, саблей гремя,
Окликнула Звержа басом начальства!

Ссориться с батькой? Это сейчас,
Когда Эльбрус перед ним курится?
Нет! Не затем господь его спас,
Чтобы погибнуть из-за корицы.

Тата прекрасна! Ноздри... Глаза...
Но ведь должны же быть тормоза
В натуре солдата! Ну, и к тому же
Месяц, другой — и Тата без мужа,
А Карл в золоте эполет.
Надо выждать. Терпенье, терпенье!
И, в мыслях поднявшись до высшей ступени,
Бернадот отвечает: «Нет!»
Тата вышла.
Наездница Лора,
Стоя за дверью, слышала все.

Коня? Для Гая? Вот так умора!
Теперь Лариска возьмет свое.
Мало того, что узнает Кирьяк...
Впрочем, она ему сразу не скажет:
Сперва-то гордячку тайною свяжет,
Сначала возьмет в кулак!

А Тата, не видя ее, глядела
И слышала: «Кончена ваша роль!»
Но вдруг такая душевная боль
Пронзила все ее тело,
Такая женская, бабья тоска
Рванулась из глаз, из груди, из горла,—
Что девушка руки к Тате простерла,
Она, как сестра, ей стала близка,
И обе тайком разразились вдруг
Глухими рыданьями лучших подруг.

Дружба мужчин и женская дружба,
Как волны и горы — отличны во всем.
Мы дружбу свою, словно знамя, несем,
В идее она величавее, глубже.
Но в изъявлениях чувства — нема.
Это, конечно, дружба ума.

Но женская дружба всегда тревожна...
Мне часто видеть ее довелось:
Она без общих вздохов и слез
Просто немыслима, невозможна,
Да попросту нет такой, наконец.
Это, конечно, дружба сердец.
И пусть, друзья, в нашем прочном покое
Мы друг для друга — идейный оплот,
Но сердце способно пойти на такое,
На что рассудок, увы,— не пойдет.

— Ну, что же мы плачем? Ты любишь Гая...
Ведь я-то слышала... Хочешь коня?
Возьми моего!
— Нет, нет.
— Дорогая!
Ну, я прошу. Ради этого дня!
А впрочем... Конечно... Мой не подходит:
Он очень красив, да не бойко ходит.

Знаешь? Слушай! Куда ни шло!
Возьмем у Звержа его Заревого.
— Да что ты, Лариса!
— Честное слово!
Возьмем, возьмем. Назло!

Они сбежали по лестнице вниз,
В конюшню к спящему Самуилу.
— Что мы делаем? Господи помилуй...
Сима! Родной! Проснись!
— А? Что?
— Ничего такого,
Только седлай скорей Заревого.

Цыган обомлел: — Ты сошла с ума?

— Миленький! Не твое это дело.
Скажешь хозяину: «Лорка велела»,
А я перед Зверже м отвечу сама.

Тата сказала: — Сама я отвечу.
И перед мужем, а не перед ним.

Цыган самокрутку. Задумался. Дым.
Зверж, понятно, его изувечит...
Но как откажешь? Девка — душа,
А барынька и совсем хороша.
Живется ей у батьки погано,
Сбежишь от таких «отцовских» опек.
К тому же — есть ли что для цыгана
Выше, чудеснее, чем побег?
Пускай не сам он бежит — ну что ж.
Чужая жажда его захватила,
Он жил сейчас отраженьем светила...
(Как хороша молодежь!)

Открывши дверь и впустивши месяц,
Он поднял палец — пресек разговор,
Потом, чтобы дело получше взвесить,
Стал в косяке и глядит во двор.

А на дворе весенняя грязь
Черным-черна, перегноем богата...
— А ну, скидай сапоги, дивчата! —
Шепчет цыган, беззвучно смеясь,

Лорка вскинулась на Самуила:
— Это зачем еще?
— Надо.
— Милый!
Деньгами возьми. Ну, хочешь коралл?

Цыган в сердцах разодрал самокрутку,
Цыган обиделся не на шутку:
— Да что ж я? Коней никогда не крал?

И вот, надевши на лошадь сапожки,
Он вывел ее, бесшумный, сторожкий...
Теперь уже никакой следопыт
В дамских следах не увидит копыт.

Куда подевалась? Взлетела птицей?
В воду ушла, словно язь?
А конь под луною, как дым серебрясь,
Будто и вправду вот-вот испарится.

Но где же всадник? Скоро заря.
Тата в пространство сказала: «Время!»
И тут же исчезла.
Из пустыря
Метнулась тень и взялась за стремя.

Конь жует кисловатость удил,
Скользит меж зубов его жаркий ли́зень.
Тата глядит:
Конь уходил,
С собой унося не всадника — жизнь!

Хоть все загадано было заране,
Но топот этот ее потряс:
Предчувствие вдруг обожгло сознанье,
Что видит Гая в последний раз...

Хотелось упасть, закричать, забиться!
Но глуше и глуше звенели копытца,
И конь уже несся навстречу заре
В шуме бурьяна и чернотала,
И в бурном полете его трепетала
Летучая мышь поздрей.

Гай окунулся в весенний ветер...
Степь! Неужели опять на щите?
Он позабыл обо всем на свете,
Помня только о быстроте,

Думая только о том, чтоб сегодня
К ночи хотя бы влететь на завод,
А там соберем рабочих повзводно
И над Буранском зажжем небосвод!

На берегу зароились огни:
Черный туман и запах гари —
Это они: вороные, карие,
Жмудки, финки... Это они!

Конь.
Да ценим ли мы коня?
Осознаем ли его значенье?
Для пращуров наших его прирученье
Было равно открытью огня!

Сколько длился бы бронзовый век,
Если б в Аннау, если б в Задонье
В славный час не заржали кони
И не познал быстроты человек?

Конь открыл для него пространство,
Конь вдохновил его жаждой странствий,
Всем движеньям придал красоту,
Духу отважность, уму остроту;

Конь умудрил его в бранном деле —
И в пешие орды вломились арбы,
Конь подсказал ему земледелье —
И на земле появились рабы,

И города зашумели на свете,
Мир богател в трудах и войне.
Да, человек из тумана столетий
Въехал в историю на коне.

Но, говорят нам, это — былое,
Пар, говорят, вытесняет коня,
Ток электрический, в струнах звеня,
Лошадь навек победил без боя,

Стон позывных, а не звон копыт
Далям приносит великие вести,
И если конь в ауле звенит,
Это ничем не грозит невесте...

И все же ты нужен, товарищ Конь!
Битва классов ставит на кон
Все свои силы в последнем ударе,
Рано тебе жиреть у травы —
Слышишь воинственный клич Москвы:
«На коня, пролетарий!»

Лети же, лети же, как бой звонаря,
Звон-жеребец благородной крови,
Алый, червонный, багряный, багровый —
Сам, как утренняя заря.

ГЛАВА IX

— Ах ты, бисова баба, га?
Вэдьма чертова з буерака!
Кто помогал? Отвечай, собака!!
Может, Маруська, старая карга,
Или якась другая подруга?

— Нет. Я сама.
— Брешешь, подлюга,
Хай бы тоби добра нэ було́!
Вам шо стуло, а шо седло.
Брешешь! Тут якая старалась.
Улялаева нэ побоялась!
Га? Уляла... Да кто ж я? Осподь?
А ну расстегайся! Буду пороть.

Молча и медленно, как во сне,
И все же движеньем неуследимым
Тень раздевается на стене...
Платье к ногам опадает дымом.

Но Улялаеву ждать невтерпеж —
Петли, кнопки, шнурочки, крючочки.

Зубы сводила безумная дрожь,
Рубль подрагивал в сизой мочке.

Батька звериные ноздри раздул:
— Эх, проклятущая! —
Свистнула плетка...
Тата, взглянув как-то странно-кротко,
Переломилась, упала на стул,
И так же — без выражения зла —
Веки прикрыла и оползла.

Он кинулся к ней, собрал ее на́ руки.
— Тату! Татуся! Чи ты жива? —
Понес на постель за какие-то арки.
(Как во хмелю, гудит голова.)

Зеркало их отразило скосу:
Морская царевна плывет на руках —
Рыбьим гребнем схвачены косы,
Пена, колени в высоких чулках,

А дух-степовик, огромный и древний,
Тащит в берлогу свое божество.
Есть ли прекрасней этой царевны?
Нет!
Но царевна-то... не его.

В алькове он опустил ее тело,
Бережно подоткнул тюфяк.
Как она на него посмотрела!
Боже ж мой, га? Посмотрела как!

Кровь проступает уже по рубцу
От лифа до пояса. Тата, Тата...
Взгляд ее. Вот она где, расплата!
Простила. Но так прощают отцу,
Недаром же... «батька»!

Он встал. Покачнулся.
Вышел на воздух. Идет. Куда?
Навстречу весенняя грязная улица —
Пляшет, поет, веселится орда.
Но тут подросток: — Подай, дедусь! —

Мм... Как свистнет у деда нагайка!
Хлопцы,
киргищина,
русь
Хлынули вспять аж до самого Яика...
Все уже знали: хоть кто, хоть пан,
Не попадайся:
Кирьяк пьян.

Вот уже слух летит по базару:
— Идет сюды!
— Удирай, братки! —
Кинув палатки, бросив лотки,
Полные снеди и красного товару,
Кто на верблюдах, кто на бычках
С криками выезжают за рынок!
Сыплется груда горшков да крынок,
Грязь в молоке, овсе, черепках...
Лишь пять гимназистов спокойно сидят
И «каурму» над жаровней едят.

Шашлычник, бессильный им объяснить,
Что интерес у него тут кровный,
Вдруг, проявив молодую прыть,
Овладеть попытался жаровней,
Но, не причастные ни к чему,
Пять гимназистов едят «каурму».

— Читал я, ребята, Платона, Прудона.
Штирнера изучил глубоко...
Да, глубина их, конечно, бездонна,
Однако на практике это — батько!
Кто посильнее, тому и воля.
Чуть не поладили — бац! Убит.
Однако без лозунга и пароля
Быт — уголовщина, а не быт.

— Как? Уголовщина? Браво, браво!
Не ожидал от тебя, Модест:
На государстве поставил крест,
Но признаешь уголовное право?

— Этого я не сказал.
— Сказал!
Значит, закон для тебя — икона?
— Не придирайся. Я против закона.
Что мне судилище? Трибунал?
Но я не против этических правил.
— Ешь! Остынет твоя «каурма».—
Модест зачерпнул, но тихо добавил:
— Мама, наверное, сходит с ума.

Все завздыхали.

— Мальчики, бросьте!
Разве для нас закрыты пути?
Мы можем, если угодно, уйти.

— Правильно: мы в отряде гости.

— А пулю в рот?
— За что же?
— Мутишь.
— Но где же тогда анархизм? Свобода?
Уж лучше тома уголовного свода,
Чем это кулачное право...
— Тш-ш!
— Ага! Притихли!
— Cum tacent clamant! [1]
— Мальчики! На горизонте мамонт!

Батька шел по пустому базару.
Салаты какие-то... Окорока...
Сусличьи тушки развешаны парой...
Но вдруг
махакнула волохатая рука —
И плюхнулись в жижу пучки салата,
Конские окорока и суслята.
А тут еще сдуру закрякали утки,
Хромает к батьке рассерженный гусь...
Но батька бух гусака под грудки:
— Я т-тоби дам «дедусь»!

---

[1] В молчании вопиют! *(Цицерон.)*

И снова идет, бесшабашен, неистов.
Пока не споткнулся о гимназистов.

Те вскочили, обдернули куртки,
Как если бы в класс директор вошел.
— Садитесь, Кирьяк Михалыч, за стол!
Угодно? Жаркое из сивки-бурки!

Батька смутился. (С ним вечно так,
Когда попадает в культурное лоно.)

— Закурим, быть может, дюбек лимонный?
Самый тонкий крымский табак.

Но Улялаев такой человек:
Ему никаких ароматов не надо!
Он самый тонкий лимонный дюбек
Отдаст за кизячий дух самосада.

И он достает меховой кисет,
Где бисером вышита морда волчья,
И трубочку набивает молча...
И молча моргает соседу сосед:
Надо ж беседовать! Но о чем?
Об анархизме? Ну, это едва ли.

— Смотрите, что я купил на развале:
«Искусство» Гнедича. Третий том.
— Вот это покупка!
                    — Счастливый, черт!
Одна бумага звенит, как бубен.

Поплыл Амстердам. За ним натюрморт.
Венера в мехах.
                    — Постой: это Рубенс?
— Рубенс гигант, а это титан!
— Кто же все-таки?
                    — Тициан!

Над рынком галдела черная галочь —
    Добыча им чудится сном...
Угрюмо сидит над жаровней Михалыч,
Но гимназисты забыли о нем:

Женщина в косах с отливом меди,
В зеркале видя себя, как грех,
На бедра и плечи
накинула мех,
И тот обнимал ее с лаской медведя —
И оттого ее нагота,
Пальцы, прикрывшие перси, шея
Казались женственнее, нежнее
И душу захватывали на года!

Талант — умение видеть вещи,
Ум — находить между ними связь.
Да! Эти медные косы вечны,
В бликах пламенем становясь,

Да, изумительна плеч поверхность,
Где-то переходящая в свет,
Мéха ее живописная верность,
Остистость его, красно-бурый цвет.

Но здесь
уже
Тицианов
глаз
Становится внутренним оком:
Стоишь у картины в раздумье глубоком —
И мрачная мысль пред тобою зажглась...

Здесь потрясает не только эхо
Розовых бликов
от бурого меха —
Тут сочетались невинность и дичь,
Женственность и звериность!

Но этот намек Тициана постичь
Ребятам труднее, чем вычислить синус.
И все же на миг ощутили они
По интуиции или случайно,
Что тут не палитровые огни,
А сердце женское, женская тайна,
Страх перед силой своей красоты,
Влекущей звериные силы порока,
Что перси эти, эти персты
Стали для женщины ужасом рока,

И прелесть, которою одарена,
Может быть, ненавидит она.
Вряд ли юноши этих лет,
Даже не чуждые сложной мысли,
Именно в этом духе и смысле
Поняли Тицианов портрет,
Но почему-то само собою
Выплыло сходство судьбы с судьбою:
— На Тату похожа, мальчики!
— Да:
Так же прекрасна и так же горда.

Тата... Как трогательно это имя!
Волнующий образ пред ними возник,
Живая душа всплыла перед ними
Ярче полотен и глубже книг.

— Нет, не горда! Не то это слово.
Звезда, осеняющая города,
Сто́ит превыше всего земного.
Но ведь звезда совсем не горда,
Она всего лишь — увы — недоступна.

— Верно! И это в ней хорошо.

— Гип-гип Модесту! Сказано крупно.
Недосягаемость Таты...
— Шшо?!

Мальчики обомлели.
— Нэдоступная? Це для кого́?
Може, для мэнэ? Га? —
Ничего
Не понял батька в сей параллели,
Да ведь ему и не объяснишь...
Впрочем, Модест поднимается с места.
— Позвольте! — раздался голос Модеста,
Но тот на него, как на мышь: «Кыш!»

И тут он увидел Венеру в амурах,
Лапы медвежьи, округлость рук...
Черты
его
из угрюмых и хмурых

Стали бешеными. И вдруг
Встает! Гремучий удар сапога —
Жаровня кверху! Взвивается пламя.
Ворóны и галки в безумном гаме
Взметнулись, как траурная пурга.
Не обуздать теперь забулдыгу.
А батька уже берется за книгу.

На грудь Венеры ложится ладонь,
Венера корежится аж до хруста...
Раз! — и все это ваше искусство
К чертям собачьим — в огонь! в огонь!

Модест закричал: — Да мы не о том! —
А гимназисты, не в силах отстраниться,
Смотрели, как в пламени роскошный том
Пеплился, от боли листая страницы:

Ганзейская шхуна.
Вот кошка и пинчер.
Паяц в кулисах.
Бордо.
И листнулись вдруг глаза Леонардо да Винчи
Над струистой
золотистой
бородой.

Этого видеть Модест не мог.
Сорвав с себя гимнастерку-хаки,
Он бросил на книгу, задул дымок
И... улыбнулся. (Чтоб не было драки.)

Нно,
отдуваясь, как ярый зубр,
В истом величье кулацкого вождя
Батька, к юноше подойдя,
Вдарил перстнями в зубы.

И тут-то каждый так или иначе
Понял, что это не просто бой:
— Да здравствует Леонардо да Винчи!
— Интеллигузию бей!

Где-то тревогу бьет барабан.
Крики несутся истошнее, звонче...
Кирьяк отряхался, как дикий кабан
В битве с загривка сшибает гончих:
Этого — ух! Этого — кряк!
Этого — хряск!
О то Кирияк.

А улялаевцы тут как тут:
Топот, гиканье, свисты...
И вот вповалку лежат гимназисты,
Будто играют в «масло жмут».
Безмолвна, однако, эта гора:
Невеселая, видно, игра.

Куда веселее играют бандюги!
Дылда, Маруська, Золотой Зуб,
Достав рогожки из-под белуги,
Обшив рогожкою каждый труп,
Свалили «товар» на верблюжьи дровни:
— Рыба! Рыба! — гогочет орда.
Но батька, взглянув на уголь жаровни,
Задохся от ненависти:
— Борода!
За шо воны гибли? За бороду гибли.
Треба уважить. Просю бороды.

Ура! Бандиты бросаются в дым —
Зола разметана, пепел вздыблен,
И вышел из тлена, спокоен, велик,
Подернутый желтым куревом лик.

Это спокойствие превосходства,
Знающего бессмертье свое,
Как-то пришибло все их юродство,
Грязный базар и его воронье...

И вся разудалая эта возня,
Кулачная власть кулацкого бога
Вдруг показалась такой убогой,
Нищей такой... Без грядущего дня...
За этой вот бородою аршинной
Высятся книги, стоят города!

Это струистая борода
Оттуда ж, откуда автомашины,
Локомотивы и крейсера!
Что ей жалкое это «ура»?

Куражься, погромничай, атамань —
А мир
стоит
с его мощной культурой,
И что тут поделает, вылезши сдуру,
Улялаевская глухомань?

Но миг — и как будто никто ничего:
— Айдате, хлопцы!
— Гуляем нынче! —
Взметнулись глаза Леонардо да Винчи,
И снова юродство, опять шутовство.

Портрет наклеен на медное блюдо,
Блюдо сверкает очами, как щит,
Но щит подвязан к хвосту верблюда,
И тот брыкается, верещит,
Вокруг себя кружится упрямо...
Уж смеху было — до колик прямо!

И вдруг
в небесах,
как идея возмездия,
Как справедливости высший закон,
Гром — и конь заплясал на месте...
Взрыв! — на дыбы подымается конь...

Новый грохот осыпал окна.
С визгом цокнул осколок о лад
Медно-зеленых шеломов — и вздрогнул
Колокол около колокола.

— Тикай! Окружают! —
Ударил четвертый...
Драп!!

Очерненные тенью ворон,
Вон из города мчались орды
В ужасе от таких похорон.

А по дороге от каждого взрыва
Рушилась лошадь, взметнувши гривой,
Вниз головою всадник летел,
Тут же заваленный грудою тел.

Падаль запруживала переулки...
Стоны, божба, исступленный вой.
К черту раненых! Топот гулкий
Вихрем к полю по мостовой —

Мимо театра, где фижмы и блонды
В старой витрине под сенью берцов,
Мимо столичной гостиницы «Лондон»,
Мимо
площади
мертвецов...

Есть еще правда в мире огромном!
Нет, вы погибли не за мираж.
Мерно,
торжественно,
гром за громом,
Плыл над городом траурный марш.

ГЛАВА X

Засунув с маху папаху за пояс,
Батька глядел на вокзал:
По рельсам гильзой скользил бронепоезд
И с трех высоток один воевал.

Пять броневых блиндажей на колесах
Под металлический грохот и бряск
Взад и вперед проносили лозунг:

«ДАЕШЬ БУРАНСК!»

Да, бронепоезд — немалая мощь,
Голым свистом его не возьмешь.

Но ведь и он не осилит орду!
Перемахни огневую черту —
И бронепоезду нечего делать:
Дальше ни рельсов, ни гаек, ни шпал,
Дальше — ковыльник, в ветрах поседелый,
Всадничек там занырнул и пропал!

Только собрать бы орду в кулак,
Только не дать бы ей распылиться...
Но что это?
Старый гривастый казак,
Белобородый и чернолицый,
Перекрестился плеткой — и вот
Вся станица за старым плывет.
Ясно: уходят!
В первой паре
Пляшут два вороных в загаре,
Красноостистых два вороных —
Двое седых кавалеров на них;
Дальше — в богатых пушных обновах
Сотня буланых и сотня соловых,
И под конец за чубарем чубарь,
Сотня последняя: конь карь.

Так было, так будет. При первом ударе
Кто-нибудь обязательно вбок.
И вот — буланый, соловый, карий,
А впереди борода, как бог.

Ясно: уходят. Хай соби скачут:
Снявши башку, по чубу не плачут.
И Улялаев со штабом своим,
Оглушая лошадь одышкой,
Рысью тронулся из городишка —
В поле батька неистребим!

Погоня? Он не боялся погони:
У пролетариев уголь да нефть,
Но где у рабочего класса кони?
Коней у рабочих нет!
И атаман, опустивши уздечку,
Почти спокойно ехал за речку.
Однако в степи у просторного мо́ста,
Что для чугунки еще не готов,

Стояли махины трехтонного роста —
Семь пулеметных грузовиков;
Немного левей, в буреломе бузинном,
Красный крест на палатке простерт,
С флангов — две цистерны с бензином,
А перед ними — «форд».

Это отряд, именуемый ЧОН,
Часть особого назначения.
Был он Четыхою вооружен,
Завод собрал его ополченье,
Политсоставом усилил часть,
Задачу поставил автоколонне —
Короче: сейчас в улялайском районе
Завод заменял Советскую власть.

Покуда над городом несся вой
И доносился удар за ударом,
Гай с биноклем сидел в легковой,
Просматривая возможный плацдарм;
А рядом —брови полярной совы:
Некто Дробышев из губкома.
Гай говорил спокойно, как дома,
Не поворачивая головы,
Точней: едва шевеля губой,
Гай говорил как бы сам с собой:
— Мы разрешили аграрный вопрос!
Вот разобьем эту банду кулачью —
И вся проблема пойдет на снос.
Кулак имеет такую же клячу,
Как и бедняк. Излишки? Да, да.
Но мы их, Артемий Артемич, изъяли!
Так что кулак в текущем квартале
Это уже человек труда.
Правильно?
— Нет.
— Но позвольте! Мы знаем,
Что бытие управляет сознаньем.

— Именно! Бытие, но не быт!
(Дробышев засмеялся.) Голуба,
Вы рассуждаете так, что любо:
Душа, мол, это число копыт.

Перечеркни двенадцать подков
И напиши в анкете — «четыре»,
Глядь: кулачок уже был таков,
Тишь да гладь воцаряются в мире.
Так ведь, по-вашему?

Гай покраснел:
— Я исхожу из данных науки.
У кулака — советский надел,
Как и у всех, у кого есть руки;
Излишка нет ни в конях, ни в овсе —
Значит, при всем характере лисьем
Он — трудящийся, как и все.
А вы — «душа»! Душа — идеализм.

— Опять ошибка! — смеется Артем.
Но Гая скрючило, точно от боли:
— Постой... Минутку... Доспорим потом...
Гляди! —
Большим разномастым гуртом
Лошади вылетали в поле.

Вот сгрудились в плотный косяк.
Вот орда разделяется на две:
В белой бурке какой-то казак
Повел за собою конские лядви —
То борода, по-хозяйски хитра,
Возвращается на хутора.

Но боевая лава орды,
Все до последнего без бороды,
Этаким маревом чернодубным
Двинулась к речке с песней и бубном:
Там за глухой бузиною — мост.
С черными галками, с черным стягом
Банда сначала ехала шагом,
Но вдруг
увидала
чоновский
пост —
И понеслись улялайские кони
С гиком и свистом к автоколонне.

Все ближе и ближе звенящий гон
Коней, рублями подкованных!
В челках — блеск золотых погон:
Вон тот жеребец — гвардейский полковник,
Этот поручик, этот корнет,
А нижних чинов средь лошадок нет.

Белый, черный, игреневый, рыжий,
Красный, пламенный... Звонче! Ближе!

Конь пулемета не ест. Это так.
Рухнет под пулями первая стая!
Но в том и особенность конных атак,
Что быстрота коней, нарастая,
Опережает убыль в строю.
Покуда пули прошьют гнедого,
Сивый прорвется. Убьют седого,
Чалый проносит секунду свою.
За мертвую линию хлынет орда,
Машины затопит, прислугу порубит,
Весь этот жалкий заслонец погубит,
Ступит копытом о мост — и тогда...

Но грузовые машины безмолвны.
Но пулеметы на них молчат.
Но мертвые фары зловеще торчат,
Грозно уставясь на конские волны.

А кони все ближе. Табун боевой
Сивой, чалой, гнедою лавой
Прыгал, скакал, заносился и плавал,
Молниями блеща над собой.

Гей! Быстрее, быстрее, быстрее!
ЧОН молчит. Неподвижен ЧОН.
Перед ним уже черными птицами реет
    Военный танец знамен,
В каком-то безумье визжа и воя
(Весело воевать на коне!),
Пред ним лицо казачьего боя,
Где каждый всадник пляшет, как нерв.
Лава несется и ждет огня.
Даешь пулемет, комиссар поджарый!

Но тут,
среди бела дня
Светом
ударили
фары.

Самое страшное на войне —
Внезапность, а если она непонятна,
То это всегда страшнее вдвойне.

Кто-то споткнулся о желтые пятна...
Этот шарахнулся... Тот на дыбы...
Жуткие лучевые столбы
Четырнадцать в ряд, да не сверху, а снизу!
И так уже встряской мозг накален,
А тут еще скифы, а тут киргизы,
Сроду не знавшие автоколонн.
Орда заклубилась — и ни на пядь!
Кони копытами переступали.
Дылда: — Хлопцы! Чего ж вы стали? —
Батька, зверея, кричит: — Наступать! —
Еще минута — и бранный клик
Автоколонну возьмет на клык.

Но этой минуты им дать нельзя.
Покуда Маруська визжит: — Друзья! —
Покуда над батькой ворон матерый
Вьется и каркает, как дурной,
В рев заревели наши моторы,
С которых глушители сняты долой,
И тут, вконец помрачая разум,
Семь пулеметов ударили разом.

Дикий ужас прошел по банде,
Словно она услышала ад.
Вдруг без команды, как по команде,
Хлопцы с воем назад, назад...
То не заслон — то чертова база!
Страшные выхлопы черного газа,
Больших оборотов чудовищный вой
Начисто вышибли дух боевой.
Ржаньем и визгом полна округа...
Кони грызутся, давя друг друга,

Казалось, от топота этих зверей
Шар земной закружился быстрей.

Автоколонна рванулась вперед,
Почти на хвостах преследуя орды.
Вот грузовая в гору берет...
Но кто-то машет рукой из «форда».
Сашка вгляделся: это Артем.
Автоколонна остановилась.
Сашка Седых из кабины вылез
И подошел с угрожающим ртом.

Артем

Дай отойти улялаевским людям.

Седых

Ты что! Рехнулся или остряк?

Артем

Пусть отойдут.

Седых

Ну, а мы?

Гай

Мы будем
За ними ползти, как ползет страх.

Седых

Не понимаю.

Артем

После поймешь.

Гай

Страх по пятам! Представляешь картину?

Сашка угрюмо вернулся в кабину,
Считая, что бой пропал ни за грош.
Так начался небывалый поход:
Мир степной — ровнехонький, гладкий —
На горизонте мелькают лошадки,
За ними «чертова база» ползет.

Восходит солнце, заходит ли солнце —
Все то же и то же: слепящий свет,
Лошадки мелькают на горизонте,
Автоколонна ползет вослед.

Не слышно топота в грузном вое,
Но ясно видно в стекло ветровое,
Что меж копытами и землей —
Воздуха голубоватый слой.

И в этом слое — такая даль,
Такой ощутимый гипноз пространства,
Что Гаю казалось: «Ну, нет, едва ль
Закончится где-нибудь сон этих странствий...»

И он сквозь дрему глядит в простор,
Планшетку приладив, как изголовье;
А Дробышев, сдвинув совиные брови,
Продолжал неоконченный спор:

— Я убеждался не раз и не два:
Кулак хоть и нищ, а все на престоле!
В физике есть понятие «поля»,
Кроме понятия «вещества»;
Это вполне реальная тяга,
Власть электромагнитных сил.
Гаврюшка, допустим, в селе работяга.
Рядом кулак. Допустим, Василь.
У Василя реквизнули лошадок,
Излишек зерна — разведан, добыт.
Василь что Гаврюшка? Ладно. Порядок.
Но это пока еще только быт.
А, кроме быта, есть бытие,
Где властвует, братец, магнитная сила,
И этой силе в своей слепоте
Веками привык подчиняться Гаврила.

Пусть уравнял пролетарский курок
С бедняцким кульком кулацкий кулек.
Но ты исходи не из веса кулька:
Кулек Василя — потаенный, древний;
Сегодня скрытая власть кулака
В узком сознанье деревни.
Деревня знает, что враг — помещик,
Ну, а Василь-то не из чужих;
Был пузат, а как стал поменьше,
Стало быть, самый нормальный мужик.
Меж тем его тяга действует низом,
Он в робость крестьянскую издавна врос.
Кулак сегодня — аграрный вопрос!
А ты говоришь: «душа — идеализм»...

Меж тем «аграрный вопрос» вдалеке
Таял все той же миражною массой.
Бензин в кобыльем прокис молоке,
Сшибался с запахом тухлого мяса,

И все мрачней становилась тропа:
То здесь, то там средь полыни да чобра
Щерились конские черепа,
Скалились лошадиные ребра...

На них садился зловещий грай —
Вóроны в радугах, черные галки;
Меж них до клочьев дрались чекалки,
И несся безумный хохот и лай!

И все ж дотемна, через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в десять верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю да порск,
Покуда ночь не накроет папахой
Пустыню ветров без путей и дорог
И кони, вздувая опавшие пахи,
Повалятся с перепухших ног...

Тогда Георгий, тайком, один
Почти вплотную к орде подходил...
Он видел во тьме, шаги стерегущей,
Дымный мрак, что полночи гуще:

В этом дышащем, спящем пятне
Вот так же, должно быть, тоской объята,
С ко́сами в батькиной пятерне
Лежит и дышит она — его Тата.
Тата! Зачем он не понял тогда,
Ка́к ей нужна была его нежность!
Но ведь кругом кишела орда,
Словно глухая болотная нежить.

Где уж там ласка... Нужен был конь!
Время! Вся жизнь сводилась к минутам!
Помнится, скрипка или гармонь
Мучила душу томлением смутным...

Впрочем, тогда он не слышал ее,
Но почему-то звуки остались,
И здесь, сквозь сонное воронье
Горького сердца, как раны, касались...

А утром опять, через степь маяча,
Сохраняя дистанцию в десять верст,
Укарабкивались бандитские клячи
Под разбойничий свист, улюлю да порск.

Покуда ночь не накроет папахой
Пустыню ветров без путей и дорог
И кони, вздувая опавшие пахи,
Повалятся с перепухших ног;

А утром опять, через степь маяча...
(и так далее до бесконечности).

Но однажды запел перед зорькой кочет —
Петуший крик взбудоражил орду:
Почуя колодцы, кобыла хохочет,
Табун повернулся к людскому гнезду,
И так потянули дымок да вода,
Что и не тронулась в бегство орда.

В бурьянах, мокрых от утренних рос,
В чернобыльниках бурых
Пар, как войско, толпился и рос
Орлиной горбью плащей и бурок.

И вдруг туман коней да бойцов,
Безумной усталостью к бездне влекомый,
Двинулся на петушиный зов,
Стекая в глубокую падь с окоема.
Автоколонна вползла на холм.
        Видит: село. Но кто там?
Георгий Гай с ручным пулеметом
На радиатор уселся верхом,
С двух сторон на крылышках «форда»
Четыре бойца уместились твердо,
А два «максима» глядят из окон.
И вот тяжелая легковая,
Грузовики на холме оставляя,
Скатилась бережно под уклон.

Яснее ясного: банда в селенье.
Но «фордик» приблизился — тишина.
Окраинный дом. Закрытые сени.
Занавесочки у окна.
Рядом ворота. Чугунный запор.
Спят?
Но Гай вскочил на забор.

В серо-соленых пятнах от мыла,
Больше похожая на одра,
Арабских кровей седая кобыла
Жадно сосет из пустого ведра.

Гай под окошко. В ответ ни звука.
Гай с раздраженьем прибавил стука.
— Кто там?
                    — Свой! —
                                        За окошком шаги,
Вяло приподнялась занавеска:
— Не подаем! — прошамкали веско
Жабьи губы бабы-яги.

— Да ну, открывай! — загремел Артем.
Ведьма открыла.
                              — Чья это лошадь? —
Но бабку, видимо, не огорошить:
— А я почем знаю?
                                  — «Не подаем»,
Но принимаем коней, золотишко...

Кто это спит на полатях?
— Максим.
Старшенький.
— Старшенький. Ну, а с ним
Младшенький?
— Верно. А звать его Тишка.

Братан и брательник в исподнем белье
Вскинулись было и снова в подушки!
Черный с плёшинкой на макушке,
Русый — девушки побелей.

— А что, бабуся, вроде сынки
Друг на друга не больно похожи.—
Старуха нахмурилась:
— Да уж таки.
Кто его зна? Это дело божье.

— Нет! Безбожное это дело.
Советская власть дала вам наделы,
Мир дала вам Советская власть,
Помещикам навек зажала пасти,
За мироедов теперь взялась —
А вы, товарищи середняки,
Прячете их от Советской власти
И говорите: «Сынки!»
Совести нету. Пошли, Георгий!

— Совести? Это у нас?
— Да, да.
— А у кого такая беда,
Что хлебушко обобрали до корки?
— Кто обобрал-то?
— А ваши.
— Врешь.
— Кулагина знашь? Приходил с отрядом.
Спроси хотя у соседки рядом.
Не то что пшеничку — самую рожь!
Мужик все одно что буржуй, говорит,
Мужик до собственности охочий,
Мужик, мол, плачется что есть мочи,
А клад у него под печкой зарыт.
Да ты пошарь, говорю, под печкой,
В норку мышиную лазь со свечкой.

Старуха, всплакнув, отвернулась от них.
Она уже не казалась жабой:
Древняя многострадальная баба
Из самых что ни на есть родных.

Гай и Дробышев переглянулись.
Но тут Смирнов подбегает к окну:
— Обследовал пять близлежащих улиц,
Заглядывал во дворы...
— Ну, ну?

— Везде — в сарае или в загоне
Определенно бандитские кони!

И снова на крыльях четыре бойца,
«Фордик», треща, побежал обратно...
И тут-то два несхожих брата
Из двух окошек дали свинца!

Чоновцы с ходу прянули наземь,
Но бабку обстреливать не с руки.
Однако с холма, загремевши разом,
Кинулись грузовики.

Два пролетели сельцо насквозь
И стали у дальнего края селенья.
Третий стал созывать населенье,
Но хаты будто забиты на гвоздь.

Учитель в раздумье поскреб себе темя:
— Эта низинка — Бирючья Падь!
— Не в этом дело! — сказал Артемий.—
Кулагин тут постарался, видать.

Он оглянулся на радиатор,
Где Гай приклеивал к дырке пятак.
— А он случайно не провокатор?
— Нет. Но он не случайно дурак.

Все засмеялись.
— Серьезный случай:
Убей — не знаю, что хуже, что лучше.—
Меж тем четыре грузовика
Мчались по улице, в дымах сгорая,
Брали заборчики в два рывка

И выводили коней из сарая:
Белых, карих, седых, золотых —
Всё оклейменных, всё заводских.

Будто вернулись былые деньки:
Плетутся усталые дончаки,
За ними вороны кабардинские,
Карабахские, ахал-текинские,
Хэки, эстонские клеппера,
Тяжкие, поджарые, высокие, низкие
Амурские, башкирские, калмыцкие, киргизские,
Жмудки, финки, марш-клемпера.

И вдруг откуда-то с огорода
Выстрелы, клики, топот копыт:
Семь коней — боевая порода —
В легком полете блеском слепит!

То Улялаев со своим штабом,
Бросив орду безутешным бабам,
Снова простор себе покорил —
И снова ветер гривами свищет,
А рядом с ними, будто кладбище,
Крестатые тени вороньих крыл.

Не этой ли черной тенью крылата,
Опять улетает от Гая Тата?
И дальний топот его потряс...

Георгий подумал, следя за ними,
Что если и Тата летит в этом дыме,
То видит ее он в последний раз.

ГЛАВА XI

В призрачных башнях горит небосвод.
Вспыхнули гелий, барий и стронций,
Синеет, алеет, желтеет — и вот
Над горизонтом краешек солнца.
И осветился дымный чертог,
Лучи венцом засияли, как слава!

По телу солнца черной чертой
Край земли оседал величаво,
И круглая степь
под родимый свод
Всем своим шаром катила вперед.

Покуда кони бандитского штаба
Перелетали через ухабы,
Две грузовые, ползя вослед,
Ямы и рытвины обходили,
Так что сначала степные мили
Коней сливали в сплошной силуэт.

Но дальше уладилась ровная степь,
И рухнули все улялайские планы:
Грузовики парят, как бипланы,
Точно по линиям их судеб!
Выхлопы кашляют все сильней,
Песок в карбюраторах плещет о донце,
Но стали видны, отливая на солнце,
Семь коней, словно семь огней.
И семь коней задержались на миг.
Ветер стал было гриву ерошить,
Но вдруг, завизжав, какая-то лошадь
К ЧОНу кинулась напрямик.

Что такое? Машины стали.
Это мчался не конь, а страх!
Вмиг над ним закаркали стаи
Черные, словно траурный стяг.
Дышит... Безумье в глазах раскосых...
Скачет в подзвоне стертых гвоздей...
А за копытами, путаясь в косах,
Женская голова на хвосте.

Тата!
Гай зарычал, как во сне,
Глухонемым и придушенным стоном,
Но тут же осекся: что́ трехтонным
В этой его любовной возне?
Смеет ли он поворачивать к ней
За черным галопом, окутанным дымкой,
Если вдали, становясь невидимкой,
Мчатся шесть вороных коней?

Дробышев крикнул: — Машины, назад! —
Но Гай почти прохрипел: — Отставить!
— Да ведь нельзя ж ее так оставить:
Галки склюют, шакалы съедят.

— Слушать меня: машины вперед!
— Георгий!
                    — Кто здесь командует ЧОНом?
Вперед, я сказал! —
                              С лицом удрученным
Он сел и сгорбился, точно урод.

Красный след перед ним, как шлях.
Где-то в бурьянах знакомое платье...
Над ним крылатые, верно, объятья...
Где-то близко... В пяти шагах...

Машины стронулись и поплыли
По красным пятнам ковыльной пыли.

Но Гай подбородок прижал к груди,
Чтоб линию горизонта обрушить
И не увидеть, не обнаружить
Неизбежного впереди.

Он слышит, как снова стекло зазвенело,
Как вновь задышал ослепительный май,
И лишь потому,
                    что взлетел
                              кумай [1],
Понял,
          что рядом
                    безглавое тело.
Машина съезжала в какую-то падь,
Затмилось шоферское зеркальце в меди,
И Гай вполглаза по нем заметил,
Что серый кумай опустился опять.
Степь... Ковыль... Орлиная сыть...
Невинное небо над дикой страною...
Такое сердце не оценить,
Такую любовь обойти стороною
И спохватиться, но для того,
Чтоб не любить уже никого!

---

[1] Кумай — степной орел.

Великие годы, но страшные годы...
Страшной была в них не буйная кровь,
Не исступление непогоды,
Сдувшей с России острожный кров,
Нет! Народ потребовал власти,
И совесть его чиста и светла.
Что же тут страшного? Страшно бесстрастье
С каким эпоха по судьбам шла.

Если бы Гай, схватясь с Кирияком,
Пал от бандитской сабли в бою,
Гибель его была бы под знаком
Битвы народа за долю свою.
В гибели этой высокая честь —
Смысл в этой гибели есть.
Но обезглавленная Тата
В страшных крыльях степного орла...
За что невеста его умерла?
К чему тупая эта расплата?
Что она сделала? Что? Отвечай!
Ведь вся душа ее — тихая верность.
Себя ли к ответу требовал Гай,
Саму ль историческую закономерность?

Смеркалось, когда машины снесло
Вслед за конями в большое село.
И здесь ни души. Одно только пугало
С галкой, встопорщенной на ветрах,
Маша рукавом, огромное, пухлое,
Пыталось к небу взлететь, как ветряк,
Да посредине пыльной дороги
Играли мальчики в «городки».
(Играли, однако, в явной тревоге,
И попаданья были редки.)

Со всем добродушием рукоплеща,
В тужурке, накинутой просто на плечи,
Артемий к ребятам сошел налегке
И выбрал палку себе по руке.

— А ну, принимай от меня гостинца! —
Он гикнул и метко ударил в цель.
Один из мальчишек сказал на «нце»:
— Никтонце ничевонце не говоринце!

Артем иностранных языков не знал:
— Ребятки! А где ж Улялаев?
—Чевонце?

Но тут из-за тына подал сигнал
Зверь, горящий, как черное солнце.

Кровавым паром зари залитой,
Он звал кого-то голосом вещим.
На стриженой челке погон золотой
Полковничьим серебрился созвездьем.

Нужно ли было тянуть жеребья,
Оценивать зубы или копыта,
Чтобы узнать того жеребца,
Который богом был для бандита?

— Чей конягa? —
Мальчик молчал.
Но тут на Ворона вспрыгнул Саша:
— Раз, говорите, лошадь ничья,
То будет моею.
— Вре! Это наша!
— Ваша? А это что за тавро:
«К» и «У»? Докажи перед всеми!

И вдруг спросил, прищурясь хитро:
— А может, ты сам — улялайское семя?
Гай вполголоса: — Саша, брось!
У нас с мужиками должна быть сплоченность.
И потом — это ребенок.—
Александр поднял
бровь:
— Ты ученый, а я толченый.

Но тут Артемий, слегка наклонясь
Над улялаевцем непреклонным,
Сказал ему самым серьезным тоном:
— Скажинце! Я подарюнце коня!

Мальчик стрельнул глазенками стали...
И то ли подарок, то ли язык,—

Он так припустил, что только летали
Камешки из-под ножек босых.

За ним осторожно тянулись машины.
— Сейчас увезем тебя, друг Кирияк!

Какие-то злобного вида мужчины
Толпились у входа в древний кабак.

— Здесь? —
Мальчонка им не ответил,
А отбежал поодаль и стал.
Он только и видел, как черный ветер
В струнах гривы неслышно свистал,
Как зыбью лиловой бежал против шерсти,
Что в подпуши явно светлее была...
Бурую кровь на копытной серости,
Ковку, стертую добела́.

Тем временем чоновцы входят в корчму
И зорко глядят сквозь табачную тьму:
Пол в кабаке был измызган и страшен,
Но коврик в углу зеленел, как луг!
Подняли коврик — под ковриком люк:
Маруська, Зверж и Мамашев.

Бандиты вышли и сдали оружие.
Но Зверж, играя сапожками карими,
Четко сказал: — Я могу быть нужен
В качестве инструктора вашей армии.

Гай усмехнулся: — Не нахожу слов.
— Напрасно. Я продаю вам шпагу.
Я только спец и свое ремесло
Могу предложить по контракту на́ год.
Итак, значит — нет?
— Обратитесь на биржу.—
Он вынул пилюлю, заправленную в жесть,
Глотнул, поднял брови и сделал жест:

— А славу по мне пусть лошади выржут! —
Но тут же забредил от дикой боли,
Точно его одурманил угар:
— По двум шарам я метил удар,
И что же вышло из карамболя?
Черт с тобой, мосье Бернадот!
Но женщина... А? Царевна морская...
Царевна...—
                    Он рухнул, скрививши рот.
Маруська билась, брань изрыгая,
И только один зеленый киргиз
Стоял, глаза опустивши вниз.

Георгий вышел, задумчив, строг:
Но где же все-таки Улялаев?
Быть может, залез в какой-нибудь стог
Или залег до поры меж сараев?

Мальчонка нас обманул. Это так.
Но жеребец не обманет, пожалуй:
Ведь это все существо его ржало,
Это душа звала: «Кирияк!»

Надо коня отвести назад,
Надо поставить его на шляхе,
И может быть, запах рыжей папахи,
Или с дымком кизяка самосад,
Или душок чабреца-талисмана
    Выдадут атамана.

И черный красавец взят под уздцы.
Он так пошел по тропе над Чаганом,
Точно волшебные кузнецы
В четыре удара монеты чеканят.

Шея черным лебедем. Черная в голубь.
Золото пламенеет меж губ.
Ножки — будто шестеро их пляшут в кураже.
Груди жеребцовские в радужной саже —
Тени лиловые, синяя глубь.
А глаз-то, глаз — кровавый, спесивый!
(Кони понимают, что они красивы.)

И вот на шлях выводили коня.
И дали волю. Он стал, озабочеп...
Он начал отряхивать гриву, звеня
Струйками часовых цепочек,

Потом раза два ноздрями подул,
К тыну, где пугало, повернул
И вдруг затрубил призывною песнью,
Как перед боем медный корнет!
Так. Отлично. Так, так. Чудесно.
Но где же... пугало? Пугала нет.

Вместо него — длиннющая палка,
Которую вырвал из тына бандит.
Вместо него — подбитая галка,
К шапке привязанная, сидит.

Фью! Ищи теперь ветра в поле.
Батька давно ушел за Чаган.
Георгий крякнул...
— Эй, ты, мальчуган!
Где ж Улялаев?
— Батька на воле.
— Стало быть, ты обманул нас?
— Ну да.
А только лошадку все жа отдайте.
— За что?
— А три городские дяди?
Кабы не я — никогда.
— Ах, вот оно что! Городских не жалко?

— А нешто им деревенских жаль?
Вон из губернии приезжал
Один городской. Горлопан. Оралка.
Дык он, брат, такого тут натворил!
Мы все записали. Авось пригодится.
— А кто он?
— Ну, ваш.
— Да великая ль птица?

— Великая. С ливорвертом был.
— Так. И что же он говорил?

— А то говорил, что батрак есть рабочий,
Стало быть, надо его поддержать,
А прочий — к собственному охочий,
Этого, стало быть, поприжать.

— Ну, ну? Что же дальше?
— А дальше и нету.
Дальше — овин не овин: заметай!
В этой хибарке живет Митяй,
Калека с войны. Бобыль без просвету.
Дык он и его облупил, как хоря.
Четырнадцать лет я живу на свете,
А человеков таких не встретил.
Зря вы это, товарищи. Зря.

Мальчик огладил свой подбородок —
И встал бородач за ним, как двойник.
Малыш четвертому классу погодок,
Но жизнь узнал не из школьных книг...

И, жадно слушая малыша,
Георгий слышал отца его, деда,
Брата, шурина да соседа —
И с болью в нем закипала душа!

И с гневом он вспомнил капустные уши...
Не в них ли и черпал силу Кирьяк?
Пред ним возник густопсовый дурак,
Преданный и предающий,
Дурак, но не просто скотине сродни,
Требующей описанья по Брему,
Дурак, вырастающий в наши дни
В политическую проблему.

— Ты вот что, парень! За правду — спасибо.
Коня забирай. Он твой навек.
А что до горластого этого типа,
То это... это не наш человек.
Я тоже буду с тобой откровенен:
Крестьянская жизнь не ахти какова.
Но ты не горюй. Есть на свете Москва.
В Москве о тебе, брат, думает *Ленин!*

ГЛАВА XII

Ленин диктовал машинистке: — Итак,
Резолюция IX съезда полагала,
Что путь пойдет нормальною шка́лой,
А шкала пошла совершенно не так.

Можно ли это явленье замазать?
Нет. Призна́емся волей-неволей,
Что наша
                    стомильонная
                                        крестьянская
                                                            масса
Установленной формой отношений недовольна.

Однако Шляпников, Коллонтай
Хотят завинчивать гайки потуже,
Стремясь отдать мужицкие души
В распоряженье махновских стай.
Где же союз с крестьянством, друзья,
Если у вас держимордовы меры?
Нет, господа оппозиционеры:
        Классы обмануть нельзя!
И если сейчас недоволен народ,
        То скажем ясно без лака:
Военный коммунизм — лихая атака,
Однако мы слишком рванулись вперед...

Написали?..

Ильич шагал по ковру,
Стараясь ступать по линии клеток,
Засунув пальцы нервных рук
За проймы
                    губсоюзского
                                        жилета.
Машинистка вмешалась.— Примите
                                                            благодушно —
Конь о четырех, да и то спотыкается.

Усмехнулся: — Гым-гым! Еще бы не каяться:
Может споткнуться целая конюшня.
Все мы умны, когда подопрет,

А вот предвидеть не научились.
Но дальше! На чем мы остановились?

— На том, что слишком рванулись вперед.

— Да, да. Пишите. Надо понять,
Что без деревни Русь не поднять.
Значит, покуда социализм
Не сможет на тракторах въехать в село,
Придется терпеть, как меньшее зло,
Предоставление частным лицам
Частных рынков для их зерна.
Мера крайняя, но она
Даст возможность, наполнив лабазы,
Вызвать к жизни товарные базы.
Ясно? —
— Вполне.
— Аппарат налег
И закупорил корни крестьянского роста.
Давайте разберемся: мы стоим у вопроса —
Разверстка или налог?

Лиловые тучи. Серое поле.
Умиротворенность и великолепие.
Пегие березки в золотой боли,
Задумчивая кляча с галкой на репице...

Вода замирала. На дне по-над ямой,
Кольчиком ус завернув у рыльца,
Колыша пузырь и зевая клешнями,
Зеленый рак мерцал и троился.

Гусиную стаю тянуло к морю.
Вода, как железо, делалась рыжей.
В белый туман проступали зори
От холода в пупырышках.

Но грибные дубы, полусонные, желтые,
Щелкая в пупики рябой картофель,
С треском раскалывали жирные желуди
На чашечку с хвостиком и на кофе,

И розовые, пеженькие, черненькие хрючики,
Заливаясь петухами и немазаной осью,

Суетливо чавкали, крутя закорючкой,
Благословляя щедрую осень.

А между двух дубов наливался запад —
Багров у корней, сквозь листву золотистей.
И листья слетали, слоистые листья,
По желтой кожице трупный крапат.

Кружистый полетец, мертвенно-звонкий...
И вот зарываются в ócыпь и óсунь.
И на их гусиных лапах,
                                        морща перепонки,
        Тихо
                отходила
                        осень.

И на их гусиных лапах, будто по следу,
Возы да телеги, мажары та дроги
Со всех деревень по веселой дороге
Под самый Буранск на ярмарку едут.

Вон красногривый в белых чулках.
Характер нервный. Кавалерийский.
Дылда на нем всю кампанию рыскал.
Звали его Аллах.

Вот на соловой жмудке Раиса,
Вот на пегашке Хомич, не Хомич?
Едут, едут. Ветер гористый,
Свой же дремучий ветер-горыч.

Где-то из визга звереет свинья...
Клохчут куры. Судачат гуси.
Но лошади все покрывают, звеня,
Шагая, танцуя, летя или труся.

Иные тяжки, иные поджары,
Тот равнодушен, а этот рьян.
Телеги да дроги, возы та мажары
И даже чей-то рыдван.

Под самым Буранском народ свернул
На голое место, где флаги трещали,—
И сразу же там закипает гул,
Запахло яичницами и борщами...

Но не сворачивает рыдван.
Он покатился степной дорогой.
Видимо, путь у него далекий,
Если седок читает роман.

Но не читается седоку...
Уносится ветром каждое слово.
Мирно бегут седой и соловый,
Бренча глухариками на боку.

Как поэтична эта езда!
Ямщик в архалуке с бараньей опушкой,
Над ямщиком возникает звезда,
Которую, может быть, видел Пушкин...

Он слышал вот это ямщицкое — «тпру!»,
Вопросительный посвист, полный вибраций,
И вдруг о снег полнозвучно бряцнет
Звон лошадиной струи на ветру...

И вновь остановятся. Через фут.
И другая лошадь, слегка изгорбясь,
Выгнет хвост, но сделает: ффт,
Немного подумает и дернет корпус.

И снова звезда. И на взгорьях круп
Черной луной взойдет из-за пущи
И снова нырнет. И баюкает уши:
Кры?
        Кру.
                Кры?
                        Кру.

Да... Так о чем он думал? Звезда...
Ямщик с его посвистом... Пушкин... Ах да:
Как умилительны звуки эти!
(Седок с улыбкой закрыл глаза.)
Казалось, рыдван катился назад,
В иную пору, в иное столетье...

«Навуходоносор. На-
вуходоносор. Навухо-
доносор. Навуходоно-
сор. Навуходоносор».

Степь. Ты такая ж, как и была.
Лошади всюду всегда одинаковы.
Так же их слушали Пушкин, Аксаковы,
Та же звезда набирала тепла.

Через поле все так же тихо
Бежала сухая перекатиха...
Чей-то скелет... И все тот же Лель
В тонкую косточку дул, как в свирель.

Все чаще и чаще белеют кости,
Ребра да гривы, хребты да охвостья,
А за скелетом — новый скелет,
Да и не то чтобы древних лет...

И вот он видит: сходясь кругами,
Вдруг со свистом на ближнем кургане
Сшиблись два мохнатых орла,
В махе скрестив четыре крыла.

Горбатые когти сочили выскребь,
Поросший ракушками клюв гремел,
Из мозолистых лап
                                        вылетал
                                                        в искрах
        С запахом пороха кремень.

И когда от удара черного колосса
Бурый, затявкав, черкнул землей —
Вдруг покатился вниз под колеса
Череп с выпущенной змеей.
Змея? Но у самого колеса
Стало ясно, что это... коса.
Нет. Не та уже степь. Не та.
Скорей бы добраться до прочного грунта,
Последняя сгинет степная верста,
А там — свои: генерал фон Гунтер!

Скрипит рыдвашка, ветхий да хлипкий,
Свою доигрывая игру.
Седок закрывает глаза без улыбки.
Кры? Кру. Кры? Кру.

Но не баюкает перетоп.
Куц отрезвился. Он мыслит крупно:

Только рвануть бы аванс от Круппа,
А там... А там хоть потоп,
А там появится в английской роте
«Кутс», «Куутс» или что-нибудь вроде.

Меж тем на ярмарке ночь, как день:
Плошки в юртах, фонарь на дышле,
Ребята с затона, поставив курень,
С автомобильными фарами вышли.

В одной палатке шипит самовар,
И вьется над ним домовитый пар;
В другой — тарелки высятся горкой,
Тут красный перец и серая соль,
А хлеб с такой хрустящею коркой,
Что Дылду сморила нежная боль.

Глядит он на яства, зайти не смея...
А впрочем, ладно! Бровей не топорщь!
Узнают — смолчат: ты ведь сын Еремея.
Дылда садится. Пред Дылдою борщ.

Рисунчатая ложка с облупленным устьем,
Нырнув под глазастое золото жижи,
Колыхала бульбы и плавники капусты,
И борщ качался, жирный и рыжий.

Дылда пьянел. Он почти слышал
Крепкий градус мясного сока,
Который звучал до того высоко,
Что даже комар не сумел бы выше...

Нет, надо жить! Отгулялся. Хватит.
Нынче налог: уплатил — и ша!
Пошарь сейчас по закутам в хате:
Тысчонок на 20 найдешь барыша.

А только врешь — не пошаришь: налог!
Так что свободно себе позволим,
Смазав обрез найжирнейшим пиролем,
Укутать в тряпку и под порог;

А дальше с умом подойдем и к полю:
На кой ему нынче батрацкий пот?
За этого Дылду, то бишь за Колю,
Любая Таня теперь пойдет.

А он уж такую выберет Таню,
Чтоб дюжина братьев вошла бы в дом!
Так он сидел за рыжим борщом,
Смачному предаваясь мечтанью...
Прощай отныне, Бирючий Лог:
Нынче живем, как хочем. Налог!

Но что это? Господи... Перед ним
Под самою лампой — чернявый Максим.

Максим, дыша, подошел к Николаю:
— Сам-то... здесь!
                    — Да ты что?
                                        — Он, он.—
Дылда насупился.
                    — Я вас не знаю.—
Встал, расплатился и вышел вон.

— И мне бы не знать вас до самой смерти! —
Буркнул Максим и тоже исчез.

На улице густо торчали, как лес,
Дышла, оглобли да всякие жерди.
Тут воздвигался какой-то остов.
(Хоть сам неясен, а флаг ретив!)
Там возвышался большой, как остров,
Сельскохозяйственный кооператив,
И всюду строгали, клепали, пилили,
    И всюду, конечно, пили.

Но Дылда не пил. В глазах круги.
Он шел куда-то за стройку... за́ лес...
Двенадцать братьев жены зашатались,
А с ними двадцать четыре руки...

Да, за Кирьяком було́ богато.
Верно: урвали немало добра.
Но жить-то когда? Для чего и хата?
Не век дрожать в парусах шатра?

А? Но постой-ка. Что за испуг?
Был он Дылдой, стал Николаем.
К тому же Полкан, задушевный друг,
Кинулся к парню с веселым лаем,

От каши ползет домовитая гарь,
Смирно переступает Пегий,
А дальше, под дышлом его телеги,
Мирно качается желтый фонарь.

И в бледном кругу его мутных радуг
Он тихой жизни почувствовал свет:
— Анархия, братцы, такой порядок:
Хочу — дуваню, а хочу — нет!

И настроеньице поднялось,
И Коля опять вплывает в мечтанье
О рыжем борще, о хате, о Тане,
Подходит к телеге — и вдруг:
«Ось!»

Батька!.. Его звериное веко...
    «Бери коня и айда!»
С наброшенной на плечо кацавейкой
Стоял он, как одноглазая беда.

Никто никогда из отцов златоустых
Словами не мог бы Дылду пронять,
Но здесь он хватается за недоуздок,
Но тут он поспешно выводит коня

И дергает морду его за собою
Вослед за туманной своею судьбою,
За Кирияковой чуйкой — а тот,
    Не оглядываясь, идет.

Так меж телег в полуночной дымке
Дошли наконец до арбы Максимки.
Стоит Максим под осенней луной,
Задумчиво курит — и вьется струйка...
Но вдруг возникает куцая чуйка:
— Бери коня и айда за мной!

Максим говорит: — Послушай, батько!
Я уже сыт гульбой до отвала.
Да и деревня не та, что бывало:
Спрятаться в ней сейчас нелегко.

Но уже чуйка махнула далече...
И как ни была она сердцу гадка,

Максим, натянувши кожух на плечи,
Стал выводить своего гнедка.

А за Максимом сыскался Тишка,
Тот из Бирючьей Пади мальчишка,
Что русой девушки побелей,
И, подобрав заодно Самуила,
Его повезла на возу кобыла —
И едут пять человек меж полей.

Первым на Дылдином дончаке
Батька с арапником в кулаке.
Хмурый и раздраженный Максим,
Неся желваками, едет за ним,
И, молча в душе проклиная «ероя»,
На горьком возу остальные трое.

— Батько! — опять говорит Максим,
От собственной трусости изнывая.—
Я вижу в пади знакомый дым:
Деревня та же, а только иная!

— Верно! — Дылда замолвил тогда.—
Помните, как мы нырнули туда?
А нынче вон сельсовет маячит.
— Да что сельсовет! — огрызнулся Максим.—
Две гранаты — и мы победим.
Важно, что бабка больше не спрячет,
А нам без бабки не выступать.

Молчит Кирияк. Неподвижный. Властный.
Но время проходит — и всем уже ясно,
Что он огибает Бирючью Падь.

Тогда Максим гнедка придержал.
— Куда мы едем? Тут что-и-то скрыто.—
Кладет Кирияк ладонь на кинжал.
— Куда же мы едем, батько?
— До сусида.
— Какого «сусида»?
— У город Иран.
Я персюкам предло́жу набеги.

Но тут Самуил соскочил с телеги.
— Хватит, панове! Одиннадцать ран!

Вы, панове, меня не спросили,
А я не обязан. Я только в плену.
Я не обязан. Правда?
— Ну.
— Я не воюю против России.

И он пошел себе, молод, проворен...
Какой надеждой расцвел его взор!
За ним, хромая, пустился ворон,
Багровый от утренних зорь.

Тишка вскочил: — И я не хочу!
На кой мне Персия? —
Улялаев,
То ли крякнув, то ли заграяв,
Куцый обрез приложил к плечу.

Цыган удаляется. Живо. Торопко.
Вот побежал...
Но хлопнула пробка!
Цыган развалился на самом пути —
Ни проехать, ни пройти.

А дальше обрез повернулся дулом,
К Тишкиной кепке ствол наклоня,
Но тут, изловчившись телом сутулым,
Прянул Максим с коня на коня!

— Бей его! —
Шарахнулась лошадь.
Боком, боком. Шажонков сто.
Максимка сдает, хоть он и моложе...
Но тут еще Дылда! А Тихон что?

Оба с телеги спрыгнули вниз.
У Дылды гиря бомбы почище,
А Тихон петлей захлестнул плечища
И, ухватясь за веревку, повис.

Но атаман знаменитых банд
Может ли дать себя сдуру прикончить?
Кирьяк отряхнулся (так дикий кабан
В битве с загривка сшибает гончих),

И, нарочито упав в седла,
Дылду с Максимкой сгребая в охапку,
Он вздумал... Но Тишка — была ни была —
К дыхалам батьки притиснул шапку.

Батька задохся... Рванул проклятых
И тут же рухнул...
— Веревки! Веревки! —
Батька возился, могучий, неловкий,
Но только запутался и притих.

Черных распятий бесшумный мах...
Кресты скользят по груди, по скулам —
И вот монашеским караулом
Вороны выстроились в головах.

Кумай поплыл медлительным кругом.
С кургана глядит караганка-лиса.
А где-то далеко по ржавым яругам
Чекалки заплакали на голоса.

Он понял, что путь отныне заказан,
И веки заране прикрыл, нелюдим.
А три мужика обсуждают над ним,
  Какую придумать казнь.

Пулей ударить в лежачего? Слабо.
(В бою бы, конечно, другой разговор.)
Пустить за конем? Но Кирьяк не баба.
Удавкой стянуть? Но Кирьяк не вор.

И вынули топор, черный от опоя,
И дали помолиться, ежели горазд,
И Кирьяка свет Михайлыча
                    тут же,
                        в поле,
  Голову на колесо,— и раз!

ГЛАВА XIII

Но говорят, что это был не Улялаев.

1924

ЗАПИСКИ ПОЭТА

— повесть о маленьком человеке, которого великое время хотело сделать большим, благодаря большому его дару, но который (человек) все же остался карликом, ибо... был меньше своего дарования.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ...

Гете, Байрон и прочие мои товарищи. Разрешите представить: дюна! Человек стоимостью в 15 000. Овидий, Данте, Лев Толстой. Шоколадный дымок над китайской чашкой. Я ем. «Блист, блещ, блест». Почему «Мóцарт и Сальери», а не «Сальери и Мóцарт». Три условия, при которых можно стать поэтом: а) талант, б) и т. д. Образ Времени № 1. Профессия карлика у песочных часов.

Еще гимназистом, кажется, 5-го класса,
Возвращаясь домой, я раскрывал фолианты
Гете, Байрона, Пушкина и Мюссе —
И, глухой, как звонарь, объятый медным глаголом,
Плыл на высокой волне от поэта к поэту,
Мертвый среди живых, живой средь усопших.
(Иных товарищей не было у меня.)

Так я жил над побережьем моря
В маленькой дачке, засыпанной сонной дюной,
На самой окраине солнечного курорта.
Дюна эта была нашим личным врагом.
Мама моя болела ею, как астмой:
С каждым днем она на глазах вырастала,
Грозя задушить убогую нашу дачку.
Но я... я любил ее. Дюна была прекрасна!
Всегда неподвижная, вечно она осыпалась
Мелкими беглыми струйками — и казалось,
Что это течет не песок, а Время. (Жутко!)

Моя фамилия Ней. Евгений Ней.
Имя, которое очень легко запомнить,
Но абсолютно ни к чему запоминать:
Вот уж кому уж не угрожает слава!!!

Есть поэты, рожденные Аполлоном.
Когда, бывало, Овидия сек родитель,
Дитя причитало гекзаметром. Данте, бывало,
Как ясновидящий, слышал во сне терцины.
Толстой, умирая, водил стариковским пальцем,
Описывая с натуры Ангела Смерти.
Меня ж стихотворцем сделала безысходность.

Мать говорит, что самое страшное в жизни:
Бедность, бедность и бедность. Мать говорит,
Что бедность позорна. Что общество смотрит
на бедность,
Как на бубновый туз,— и моя задача
Сделать все, чтоб избавиться от туза.
Мать говорит, что если я стану студентом
(А нынче студенты в моде), моею целью
Будет жениться на девушке или вдове
С прочными средствами. Мать меня оценила
Ровно в 15 000. Это число
Стало для матери всем: ее господом богом,
Ее императором, собственною душой,
И это же стало моим кошмаром.
«Пятнадцать!» —
Лязгали жалюзи под осенним ветром...
«Пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать»,— твердили
пальцы,
Когда я их беглость пробовал на рояле...
И машинально, читая любую книгу,
Я пропускал пятнадцатую страницу.

Если б я был простым крестьянским парнишкой,
Меня б окружали такие же пастушата,
А ставши взрослым, я бы ходил за плугом,
Как и другие, такие же мужики.
Но я дворянин. Меня обучают в школе,
Где рядом за партой — дети миллионеров.
Сейчас я с ними в одной футбольной команде,
Сейчас мы вместе ходим в кинематограф,
Сейчас я в классе решаю те же задачи
И даже даю им списывать... А потом?
О-о, потом они станут владыками жизни,
А я пойду за плугом нищенской службы,
Да не как пахарь — хуже: как каторжанин,
Лишенный «прав состоянья». (Бубновый туз!)

Что я могу возразить ей? Пятнадцать тысяч
Минус любовь — не слишком ли этого мало?
Ну, а любовь без этих пятнадцати тысяч...
Может ли даже она состояться, любовь?
Кто же из девушек нашего круга полюбит
Мелкого клерка? Очень хорошего клерка?
С лучшими рекомендациями, но клерка?
Нет. Об этом даже мечтать нельзя.

Что ж я могу возразить ей? Но я возражаю
Всею культурой нашей дворянской Лиры,
Я возражаю дружбой с титанами Песни,
Я убегаю от мира веса и меры
В мир Красоты, что безмерен и невесом,
Ибо поэзия — это богатство бедных.

Вот я стою у самого синего моря:
Белый с золотом движется пароход —
Гагры, Констанца, Остия, Золотой Берег...
Люстры, ковры, слоновая кость, палитра.
Мне никогда не быть на нем пассажиром.
Но, белый на синем с дымом цвета какао,
Он входит навеки в душу мою, как этюд.
О господин председатель треста! Вы также
Видите эту марину, как я, убогий,
Но что вам в этом коричневом воскуренье,
Если вы знаете, что, заказав каюту,
Лишь позвоните — и сей шоколадный дымок
Вам принесут на подносе в китайской чашке.
Но значит ли это, что вы, господин председатель,
Много богаче меня?
Так я стал поэтом.

Рано утром, поднявши бумажную шторку,
Я улыбался пустынному горизонту,
Где в нежно-сизом таянье океана,
Дымчатая, похожая на дыханье,
Таяла итальянская бригантина.
И, упоенный этим богатым даром,
Что, как панно, глубинным ультрамарином
Вдруг осветило маленькую комнатушку,
Я проскандировал нежно и вдохновенно:

«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом»[1].
Бронзовый Байрон, стоявший на книжной полке,
Тоже глядел на линию горизонта...
И мне почудилось: жар этой смуглой бронзы
Вдруг отозвался в литом стихе байрониста,
Словно звучанье.
Боже, какое счастье,
Что существует море! Что паруса!
И синева! И наконец, что воду
Можно не только пить!
Так я стал поэтом.

Как ежедневно, сбегал в гимназию. День
Для меня начинался обычно с того момента,
Когда кончался последний (пятый) урок.
Тогда, очнувшись и сбросив в какой-то угол
Сырое отрепье нахватанных знаний, я,
Придя домой и раскрывши свои фолианты,
С отрадой входил в заповедник имен и звуков.
Однако сегодня случилось другое. Когда,
Добросовестно скушав на перемене котлету,
Я возвратился за парту — на классной доске
Жирела в мелу нелепая надпись:
«Я ем
Ты кушаешь
Он жрет
Мы лопаем
Вы трескаете
Они прут»
Я сначала только улыбнулся. Но потом
Еще и еще невольно вскидывал веки,
Пока наконец, упиваясь, в общем галдеже
Спрягал идиотский глагол с восторгом поэта,
Познавшего тонкость оттенка материала.

Вернувшись домой и забыв о маме с обедом,
Я кинулся к перьям и, не снимая галош,
Создал свой первый пейзаж на двенадцать строчек,
Который, как помню, кончался примерно так:

---

[1] Лермонтов.

«А в отмелях седая пена
Блистает, блещет и блестит».
Это была не «проба пера», не шалость,
Но посвященье в рыцари! Я ощутил
Истинную природу стиха, что глубже,
Чем заключенная в этом стихе мысль!
Это ввело меня в тайный мир подсознанья,
В лунное царство сна.
Так я стал поэтом.

С этого дня я вошел в мастерскую Слова,
В очарованье древнего ремесла,
Каждую литеру пробующего на зуб,
Точно монету. (Как это странно, правда,
Что слово «литера» родственно слову «литье»,
«Литейщику» — «литератор»? Да! У обоих
Одна стихия: руда и высокий накал.)

Кто-то сострил: поэт поет с переплета.
Я начал свои наблюденья с заглавия. Пушкин
Эти программные звуки строил на гаммах,
Чутко слушая в них привередливым ухом
Странный отзвук центрального нерва поэмы.
Так «Евгений Онегин» (ген — нег)
Полуперевéртень, в чьих притушенных звуках
Уже дана хандра и ленивое барство,
Французский прононс приличной московской речи
И круговорот самогó сюжета романа.
«Медный всадник» (éдны — áдни) — галоп
С громоздким гудом позеленевшей меди;
И наконец, сцена двух мастеров,
Названная не просто: «Сальери и Моцарт»,
Где два амфибрахия дали бы равновесье,
Но, вправленная в хорей и третий пеан,
Спирает дыханье — тревожный сигнал о злодействе.
Лирика Фета и Блока, поэтов предчувствий,
С их тремя звездочками вместо заглавий;
Корректура Некрасова, чей политический гений
Давал имена, не допускающие возражений:
«Коробейники», «Осень», «Размышленье у
парадного подъезда»,
«Убогая и нарядная», «Эй, Иван!»
Бунин (смотри его «Степь» и «Берег») — стихи,
Ребусы, где отгадкой служит заглавье,

Которое нужно бы ставить на место даты;
Маяковский, наконец, с его явно рекламным
выкриком:
«Флейта-позвоночник» или «Облако в штанах».

Да, это были не только заглавья. Не только
Цветные афиши, вещающие о тексте:
В каждом из них очертанья громадной жизни,
Точно в канале — здания силуэт.
Но мне совсем не нужна была эта громада:
Ведь это же снова думать о том, что я нищ...
Опять прозябанье... Женитьба... 15 000...

Нет, ни за что! Ничего не хочу от жизни!
Только б зарыться в эту огромную дюну,
Нежную, теплую, ласковую такую,
И слышать шорох струящегося песка,
И выдумать, будто я карлик, маленький карлик,
Несущий службу у этих часов песочных,
У дюны этой, пересыпающей Время.

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАРЛИК ПРОДОЛЖАЕТ СТОЯТЬ НА СВОЕМ

Самый заманчивый пейзаж вселенной. Образ Времени № 2. Мое кредо. Удивительное приключение с ласточками на проводах. Личная встреча с богом и впечатления от него: цвет, запах и прочее. Вариация на тему «Я помню чудное мгновенье». Как из двух ладоней сделать кумирню. Этюд «Из Дега». Образ Времени № 3. Профессия карлика у водяных часов.

Однажды я видел сон о планете Венера,
Почва которой, оказывается, покрыта
Массой из женских тел. Повсюду качались
Нежные руки, подобные дивным лилиям,
И обширные поля с полушариями персей
Поворачивали плоды с востока на запад,
Так что по ним узнавалось время.
Возможно,
Что дюна моя напомнила имя«Диана»,
А та Венеру, женщину и планету,
И все это вылилось в тему времени. Что ж!
Вполне как будто естественно. И однако
Я пробудился, весьма недовольный сном.

Быт упорно ведет за мною охоту.
Быт вторгается даже в мои сновиденья,
Но я не хочу Венериных лилий! Я карлик!
Я состою при Времени, но и только!
Лилии — это ведь... это ведь снова любовь,
Это студенчество. Это 15 000.
Нет! Ничего, ничего не хочу от быта!
Вся моя жизнь — только гаданье тайны,
Лишь восприятье Музы Случайных Смыслов,
Что разлита в природе, но о которой
Сама природа не ведает ничего.

Однажды я видел на телеграфных струнах
Пять-шесть ласточек. Черные птички сидели,
Подобные нотам на музыкальной строчке,
И вдруг
          в ухо
                    кольнуло
                              отблеском мысли:
Проскандовать по ним мелодию. (Между прочим,
Этот напевец стал моим маленьким гимном.)

Теперь предо мною город вставал сонатой,
Положенной на провода! Теперь небоскребы
Казались глиссандом, летящим от нижней октавы
До верхнего «до». Музеи, театры, соборы,
Дым из трубы, взлетающий детский шар,
Парящие кверху беззвучные эскадрильи,
А ночью сама всплывающая луна —
Все это пело! Не «вообще», а точно:
Иные в басовом, иные в скрипичном ключе,
И все это чудилось грандиозным этюдом,
Мятущимся в ожиданье каких-то чудес...
Стихи мои стали отныне лишь отраженьем
Того, что уже написано было другими.
И это не скудость фантазии. О, напротив!
Чужая поэма — шахматы для меня:
Я играл ее образами, как великий гроссмейстер,
Не желая уйти за квадрат ее бреда — в Быт.

Как-то, бродя по лиловому занду у моря,
Я увидел вдалеке золотистый блеск.
Он плеснул из воды и понесся, как солнечный
                                                            зайчик,
Через утренний пляж в парусиновую кабинку.

Я успел заметить у этого блеска — ножки,
Легкие ножки эллинской Нереиды.
Как ни странно, но столько живя у залива,
Ни я, ни мать ни разу не видели бога.
Ведь это родное, сизо-туманное море
Было таким же еще при самом Одиссее!
И этот ветер, наверное, тот же самый!
И эта лиловая отмель с ребристым дном,
Похожая на волнистое нёбо собаки...
Так почему же вместе с гниющей камкой,

Птичьим пухом, медузами да «коньками»
Ни разу не выплеснуть бога?
И вот наконец
Он вынесся, мелькнул и исчез. Но я —
Уже увидал его! Маленькие следы
Ведут в кабинку. Вот паруса кабинки
С мокрыми пятнами, брызнувшими изнутри,—
И тень моя входит. И я стою у порога.

Розовый сумрак полупрозрачного тента,
Сырой от губок и простынь розовый сумрак,
Где блещет зеркало с морем и темным ликом
Девочки лет пятнадцати...
«Что вам угодно?»
Она стояла спиной и так замерла
В белом до боли пенистом окруженье,
И лепестки, поднимаясь один над другим,
Благоухали снегом.
«Кто вы такой?»
«Не бойтесь меня: я карлик».
«Да? А зачем?»
«Легче жить».
Она засмеялась: «Вы клоун!
Разве же это бывает кому-нибудь трудно?
Смешной какой... Ну, ладно: скорей уходите.
Мама увидит — будет нам!»
Я ушел.

Если прижать друг к другу ладони горбушкой
И ими, прикрывши глаза, поглядеть на солнце —
Увидишь сумрак, чуть-чуть озаренный алым,
Совсем как в этой купаленке на парусах.
Однако глаза мои, раненные виденьем,
В этих горбушках зеркальце увидали
И статуэтку, глядевшую из отраженья,
Очи в очи.
Это осталось навек —
Гениальный эскиз пятнадцатилетнего бога,
Чье тельце святое, выточенное из бивня,
Как дым, овевала пушкинская строка:
«Я помню чудное мгновенье...»
Я нежно держал эту строчку в своих ладонях,
Давно опустив их от глаз, но боясь разжать,
Чтобы не выронить... И бормотал, бормотал

Одно и то же, одно и то же, вращаясь
Все по тому же, все по тому же кругу,
Как конькобежец, парящий на шахматном поле,
Полетом своим окружая единую точку:
Шахматную королеву. «Я помню!» — шептал я.
«Я помню!» — взывал я, весь пронизан виденьем,
Всей озаренностью сумрака в купальне...

Я помню чудное мгновенье!
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Передо мной явилась Ты,
Как гений чистой... Красоты
Я помню чудное виденье,
Как мимолетное мгновенье.

Как мимолетно! Но виденье,
Где предо мной явилась Ты,
Как гений чистой красоты —
Я помню!

Чудное мгновенье...
В полночь вдруг я очнулся. Шумело море.
В комнате мрак. На улице черная мгла.
Который час? Почему я проснулся? И понял:
Я должен сейчас же снова увидеть ее!
Опять я сложил горбушкой свои ладони.
Библейским жестом, как иудей на молитве,
Прикрыл глаза — и увидел пунцовые пальцы,
А в этой кумирне — зеркало и отраженье.

Но уж кабинка была теперь будуаром,
Зеркальце стало высоким трюмо в амурах,
А «королева» не вырезанной из кости,
Но очень живой, обаятельной и манящей
Женщиной, не успевшей одеться! Такой же,
Как тысячи голубых балерин из Дега.
Я пытался вспомнить варьяции пушкинской темы.
Самую тему. Строчку одну хотя бы!
Не получалось... Жадные ноздри вдыхали

Нежную теплоту, обтекавшую плечи:
Орбиты, расширясь, впивали ее очертанье,
По-звериному радостно зоркий слух осязал
Обольстительный шорох ее сорочки. И шелест.
Локтя о шелк. И электрический треск
Гребня о волосы. А из груди вылетали
Хищные строфы, мужские хищные строфы:

Я со счастьем знаком на «ты́»!
(Это моя любимая тема.)
Ты светишь обоям ко́мнаты,
Нарядная, как хризантема.
Нет, я хочу в этоввериться:
Я! а не, скажем, Онегин
Вижу тебя без версий
В оранжерейной неге,

Опущенную звездою
В холодную воду зеркала,
Которое с дрожью меркло
От счастья сиять тобою.

О, проклятье! Старый мой враг — жизнь —
Снова втянул меня в пену водоворота,
Вновь предо мною — дворянство, 15 000,
И выхода нет!
Но я разрываю ладони,
Вскакиваю, набрасываю халат,
Распахиваю окно и бегу на берег...
Спаси меня, море! Дай мне силу подняться
Над кругозором медного пятачка.
Верни мне опять величье самозабвенья
И страстное бесстрастье мое. Усыпи
Своей колыбельною песней мои желанья.
Оставь лишь одно языческое преклоненье
Пред шумом твоим и пред вечным ритмом твоим.

Моря нет. Видна лишь кайма прибоя.
Я вижу волну, которая набегает
И отбегает. Это равно минуте.
Потом другая: нахлынивает — отливает.
И это опять минута. И снова минута.

И вновь минута. Столетие за столетьем.
И море, объятое пеной, седо, как Время.

И я опять всего только крохотный карлик
На службе у Хроноса. Одинокий смотритель
Пенной цифири этих морских часов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МОСКВА И КАСАТЕЛЬНЫЕ К НЕЙ

«Символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты, исты...». Пушкинист по дяде. Мои провинциализмы и его галлицизмы. Рекорд четырехстопного ямба. Что именно обнажает Галинский перед статуей Пушкина. Формула трамвая и столичный способ передвижения. «Кабачок ЖЕЛТОЙ СОВЫ». Историческая дверь. Исторические сплетни. «Зоо». Багрицкий, пять поэтов на «Ш». «Их рвут-с!» Маяковский. «Русский Пушкин», Апушкин. Город Дурацк и население его. О том, что перед поэзией склоняются даже ягуары. Хабиас. Старичок — Сложная Рифма. Как делали биографию Есенину. Формула моих впечатлений: «Ноги́!»

Бабушка моя, Екатерина Андреевна Ней,
Приходилась родственницей некой семье
Галинских.
И вот я вез привет и две пары носков,
Отличных старушечьих носков из овечьей пряжи
Красного цвета, но зато с зеленою пяткой,
С откушенным хвостиком нитки у большого пальца.

Покуда я нервничал, стягивая чемодан,
На верхней наре раскачивающегося вагона —
В раме окна потянулись кадры Москвы,
И брызгами красок плеснула в глаза афиша:

Символисты,
Акмеисты,
Футуристы,
Имажинисты,
Исты...

Племянник Галинских — о, чудо! — оказался
поэтом
И пушкинистом по дяде (Василию Львовичу).
В восторге теребя на подбородке свою бородавочку,
Он с прысканьем влез головою в бабушкин чулок,
Крича, что теперь он совсем иллюстрация Буша,
Даже без сальной свечи и ночной посуды
Одною внешностью этих «провинциализмов»
(Что не помешало надеть их на тощие ноги,
Ибо «галлицизмы» поэта, будучи в дырах,
Были более ажурны, чем то допускал шик).

Через две минуты я знал, что он акмеист
С пастерначьим уклоном, но гумилевской школы,
Что я, вероятно, о нем раз двадцать слыхал,
А если не помню, то это простая забывчивость,
Которая лечится незабудками. Через три —
Я знал уже больше, две точки: великий лирик
Мощно обогатил аппарат стиха,
Введя, во-первых, рифму «сугробы — хоробр»
(Хотя этот «бр» — читателем не учтен),
А во-вторых, единственный в русской поэзии
В четырехстопном ямбе поставил рекорд,
Дав диппирихий с четвертым пеаном. Извольте:
«Я человеконенави́стник,
А не революционе́р».

И наконец, уже на четвертой минуте
С пробкой в ухе от этого ораторского дара
Я мчался куда-то, как тузик за кораблем,
Буксируемый за полуоторванную пуговицу.
И только у черной бронзы Пушкина вдруг
Он состроил торжественно-похоронную мину
И снял шляпу, поглядывая на меня.

Мы подошли к табличке с литерой «А»
В ту минуту, когда, точно в буффе, расставив
локти,
Публика лезла в электрическую комнату трамвая,
Желчная снаружи и мгновенно равнодушная
внутри.
Несмотря на то что кое-кто висел на подножке,
Галинский влип и рявкнул: «Евгений, жмитесь!

Трамвай — учрежденье, куда при всяких условиях
Может войти еще один человек».

Однако, не будучи, с одной стороны, борцом,
А с другой — не имея минимального столичного
опыта,
Я начал было отчаиваться, как вдруг
Страусовая, но почти феодальная шляпа
(Так как «поля» ее были необозримы),
Подцепив проколом меня за левую бровь,
Благополучно доставила на Петровку.

Галинский повел меня дальше — каким-то двором,
Где мы свернули направо, затем в переулок,
Потом еще куда-то, пока, наконец,
Над каким-то подвалом в маленькой нише возник
На книге с гусиным пером приземистый филин,
Уставившийся электрическими глазами.
Это была знаменитая богемская таверна —

«КАБАЧОК ЖЕЛТОЙ СОВЫ»

Миновав крыльцо, затем пройдя через кухню
С плакатом:
«НЕ ФЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ
ЧЕЛОВЕК» [1],
Мы очутились в маленькой гардеробной,
Где нависала цитата из Дантова «Ада»:
«ОСТАВЬ ОДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ!» [2]
Разделись. Шагнули. И вот перед нами угол
С двумя дверьми. На правой написано: «Зоо»,
На левой: «Кабинет сосредоточенного чтения
стихов».
Я не очень большой знаток и ценитель зверинцев,
Но стихи обожаю и потому вошел
В ту, что слева. Это оказался ноль-ноль,
Довольно уютный, и все. Я улыбнулся

[1] В Евангелье — «хлебом».
[2] У Данте — «надежду».

И хотел отойти, но Галинский втолкнул меня
внутрь
И, сказав: «Читайте!», защелкнул английский
ключ.
И я увидал: на обтянутой пергаментом двери
С китайским искусством выжженные — афоризмы,
Эпиграммы, каламбуры, палиндромоны [1] и просто
стихи
Самых невероятных почерков и направлений...

[1] Палиндромон — фразы и целые стихи, звучащие справа налево так же, как и слева направо.

ПРАВАЯ СТВОРКА

Баллада

Однажды к чайному королю
(Ол райт, вэри вэл, гуд бай),
Однажды к чайному королю
Явился юноша Глю.

Он пришел к банкиру его умолять
(Мирантон, тонтон, мирантэнь),
Он пришел о службе его умолять,
Чтоб кормить свою бедную мать.

Всколыхнув пузыри своих жирных тел
(Ол райт, вэри вэл, гуд бай),
Он через губу его оглядел:
— Каких ви умеете дел?

И, бровь подняв, он сказал: «Ха!
Мирантон, тонтон, мирантэнь?»
Но фраза Глю и смешна и тиха:
«Я окончил школу стиха».

И вдруг плантатор сказал: «Ол райт!
Ви поэт? Да, да! Вэри вэл!
Ви поэт? Я очень этому рад —
Это стоит много карат.

Ви поэт? Это значит учет и глаз,
Это очень карош на мой класс.
Стихов не падо. Но я вас иметь:
Вэри вэл! Получайте медь».

Из Блока

Над Невой тата та́та вьюга
Об тата тата́та лицо.
Моя тата тата подруга
На тата татата крыльцо.

И вот тата тата улиц
Под тата татата метель
Я, тата татата сутулясь,
Но тата татата не те ль?

О, тата тата вечер!
О, тата татата черты!
И тата татата свечи —
То тататати́та — Ты!

Блок-то Блок, да и сам не будь плох.

Эпиграмма

Кто не знает стихов Федорова Василия?
Так же оригинальны, как его фамилия.

На Демьяна Бедного

Трех граций в древнем мире можно счесть.
Родились вы — их сразу стало шесть.

На Жарова

Во!
И больше ни-че-го...

Эпиграмма

Кто палку взял, тому всех прежде
Эн-Эн прислуживает. Тэк-с.
Вчера он подавал надежды,
Сегодня подает бифштекс.

Палиндромон

Не зело пурген негру полезен.

На Рюрика Рока

С глазами красными, как сурик,
Под камнем сим лежит мазурик.
Его при жизни звали Рюрик
Рок.
Он, с гениальностью гранича,
Умом был, верно, равен Ницше.
И даже больше: был он «ниче-
вок».

Поговорка

Лицо-то девичье,
А душа Шершеневича.

* * *

— Мы пришли к Гальперину.
— Ну?
— Дома нет Гальперина.
— На!
— Ныть ли о Гальперине?
— Не.

Рифма

Зубра — арбуз.

Alles
Über Адалис.

ЛЕВАЯ СТВОРКА

На Безыменского

То, что дружны «чрез» и «без»,
Для грамматики не тайна.
Так Безы́менский случайный,
Хоть без имени, но чрез
Имя времени пролез,
А безличен чрезвычайно.

На Сельвинского

Нефтегейзер! Фейерверк!
Сколько будущего — ва!
(После дождичка в четверг,
От жилетки рукава.)

На Пастернака

Пастернака слушая,
Понимаешь смысл
Тишины, что «лучшее
Из всего, что слышал».

На Шенгели

«И шаг мой стих...» —
Сказал Шенгели.
И в самом деле:
Ишак твой стих.

Палиндромон

Сенсация: поп яица снес!

Палиндромон

Уход в доху.

На Алтаузена

Хороший поэт. Не травите, как зайца:
Даже и рифма кой-где попадается.

* * *

Некто Коваленко
Музе по коленко.

На А. Прокофьева

Люблю твои лихие книжки:
В них краски, юмор и уют.
Вот только ноги устают:
Ведь пляшешь в них без передышки.

Фамилия критика:

«Лисай Лежнев»

На Крученых

Что я тебя читал, слух этот явно лжив.
Я жив!

На Санникова

Член ВАПП и МАПП, он пролетарский вал,
О нем напишут лет через пятнадцать:
«Как явствует из сотни деклараций,
Действительно: такой существовал».

Имя подставьте сами:

Все быстрее, все скорее
Льется, льется речь его:
Здесь и ямбы и хореи,
А сказать-то нечего.

Фамилия критика:

«Жить-с».

Палиндромон

Воз лапу козе режет,
А зал горя — нов.
Вон — яро! — (глаза те же) —
Резок упал зов.

РИФМА НА «ЛЮБОВЬ»

У

МАЯКОВСКОГО

Любовь
Л.Ю.Б. о!вв!
Любовь
Лпбав
Лбов

ГЕРАКИРИСИМОЛОВА

Любовь
Новь
Любовь
Новь
Новь

БЕЗЫМЕНСКОГО

Любовь
Новь
Новь
Любовь
Проф.

ИНБЕР

Любовь
Любовь
Любовь
Любовь
Любовь

«Хватит!» — кричит Галинский и тут же влечет
Своего Данте в зал под названием «Зоо»,
Где поэты за бочками пьют из чернильниц вино.
Скелетный стук зубов на бильярдном поле,
Ван-гоговские качающиеся лампы,
Трехкаратный карбункул на кончике чьей-то
сигары,
Глядящий на вас стопузыристым глазом мухи,
Бутылки, обрыданные желтыми костьми огарков,
С черепом рядом, чей лоб испещрен стихами,
А по стенам портреты: Шиллера, Шелли, Шекспира
Шеншина́, Шершеневича — все почему-то на «Ш».

Меж тем Галинский заметил свободную бочку,
Но увы: половой, мотая по полу швабру,
Учтиво сказал: «Это место поэтов Крученых-с».
«Но позвольте, где ж он? Весь горизонт свободен!»
«Они, извините, ушли под бочку,— их рвут-с».

Галинский, однако, уже примостился в углу,
Где вместе с поэтом, носившим имя «А. Пушкин»
(Произносимое несколько тише: а́пушкин),
Играли локальной системой конструктивистов:

— Если бы некий город звался Дурацком,
То там губернатором был бы, пожалуй, Дурасов.
Князь Дурасов.
— А полицмейстер Дурыщев.
— Э, нет! Ошибаетесь, дорогой коллега:
Дурыщев, даже Дурыщенко — городовой!
— Зато соборный поп — Дурновещенский.
— Верно.
— Придурковатый — учитель гимназии.
— Точно.
— Аптекарь Дурацкер.
— Доктор по женским Дуркевич.
Владелец кафе-шашлычной Дурак-ага.
— А в это болото с бандой кубанских коней
Врывается знаменитый Евграф Дура!

Подошла Хабиас, которая папашу-генерала
Называла «мой автор».
За ней подошел старик,
Замечательный тем, что он «перекрыл» Гумилева,

Создав панторифму:

В Вене две девицы
veni, vidi, vici! [1]

Но мой Галинский уже залучил Арго
И с ним затеял дикое соревнованье:
Один объявляет: «я», «ты», «он», «мы», «вы»...
Другой подбирает названья зверей или наций:

Я — гуар,
Ты — гр,
Он — датра,
Мы — дведь,
Вы — дмедь,
Они —
маль...[2]

Или:

Я — врей,
Ты — урок,
Он — гличанин...

У самого зеркала сел Борис Пастернак.
Огненноглазый и лошадинозубый,
Подняв бокал, он чокался с отраженьем,
И оба бубнили друг другу наперебой:
— Боря, ты гений!
— Гений, ты Боря!

Вдруг,
Стуча копытцами, проскакал Кирсанов —
И вот Галинский мне показал в окне
Владимира Маяковского! Знаменитость,
Точно Каменный Гость, величаво шагала по плитам,
Тяжелозвонкими жестами грохая трость [3]
Багрицкий изрек, улыбаясь: «Шаги командора».
Но Коля уже захлебну... захлебнулся от сплетни:
— Ему в срочном порядке требовался вызов
Дантеса.

---

[1] «Пришел, увидел, победил!» — изречение Цезаря.
[2] Animal — животное *(лат.)*.
[3] При нем помещалась деталь монумента — Асеев.

Но все дуэлянты, будучи в эмиграции,
Не могли получить даже куцей транзитной визы,
И вождь футуризма заживо обронзовел.

А в дальнем углу сосредоточенно кого-то били.
Я побледнел. Оказывается — так надо:
Поэту Есенину делают биографию.
Но я уже вышел вон. Я почти бежал.
Что меня там угнетало? Сплетни? Шумиха?
Гениальничанье? Не знаю. Почти не знаю.
Но знаю: больше я уж туда ни за что!
«*Ногй!*» — как сказал бы, наверное, Коля
Галинский.

Бабка моя дала мне второй адресок
На случай, если бы в первом я не ужился.
И вот я вхожу на довольно большой чердак:
Здесь высится гардероб, на нем контрабас,
Больная ворона у запертого оконца,
А из оконца — башенный циферблат.
Милые эти предметы — вся моя мебель.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАРЛИКУ НЕ ОСНОВАТЬ «КАРЛИКИЗМА»

Образ Времени № 4. Язык башни. Как надо меблировать комнату О, опять этот Галинский! «Идиоматики» или «карликизм»? Венера в мехах. Я читаю конструктивистам свою «Осень». Расстрелян!! Ох, сумасшедшинке, о муравьиной проблеме, о неевском почерке, о девочке, которой не хватило весны, о скелете, покинувшем свое тело. Башня, одетая в траур. Белый Песец. Камень — мой собеседник. Образ Времени № 5. Финал.

И вот я опять нашел свое тихое счастье.
Я снова маленький карлик. Но уж теперь
Не дюна, не море, а циферблат на башне
Стал моим божеством. И опять, как прежде,
Муза Случайных Смыслов живет у меня,
И я вхожу в интимную дружбу с часами.

Если читать латинские цифры, как буквы,
То X, XI и XII — звучат
Чуть ли не хохотом. Так меня башня встречает,
Если я ночью к ней обращусь из окна.

И вот я живу над побережьем улиц
Часовщиком, навек оглохшим для мира,
И даже карканье этой больной вороны
Кажется мне бытовщинкой. Моя стихия —
Вещи и то, что можно примыслить к ним.
Вот я ставлю свой контрабас в уголочке:
Три струны удаляю, оставив одну,
Делаю дверку в его деревянном брюхе
И в нем поселяю больную мою ворону.
Вот я снимаю дверь с моего гардероба,
Три контрабасных струны натяну на раму —
И шкап мой станет клеткой из зоопарка.

Ночью в комнате от циферблата свет.
Ночью от дум больной вороне не спится...
«Зумм!» — трепещет струна. И я просыпаюсь:
Волчья ротонда глядит на меня из клетки.

Вот моя жизнь. Это ль не жизнь поэта?
Пусть революция сдула мое дворянство,
Пусть я могу не страшиться пятнадцати тысяч,
Пусть я свободен — и шахматная королева
Снова стала бы девочкой из отраженья,—
Но я уже полюбил свою боль. Навек!
Быть может, вот так Сизиф полюбил свой камень.
Слава? Но дружба с Пушкиным разве не слава?
Злато? Но в этой комнатке столько солнца!
Эрос? Но я перед сном раскрываю поэмы
И пробегаю мужские и женские рифмы.
И, как голодного рвет от жирной еды,
Так и меня тошнит от зрелища жизни.
Только б огромное небо и в небе башня,
А в башне — вечное и бессмертное Время,
И сам я, усвоивший лексикон циферблата,
Тоже немного вечен и чуть бессмертен.
Я засыпаю. Мне хорошо. Я карлик.

Но что же мне делать с Галинским? Вот он пришел.
Вот он хлопочет, хлопает крыльями, дышит:
— Немедленно одевайтесь! Слышите? Вы!
Хватайте стихи и марш-марш за мною. Куда?
Это не ваше дело! К конструктивистам.
Я уже все им о вас наболтал. Ждут!
Но как у вас холодно. Боже! А кстати. Слыхали?
«Лист осины дрожал, как осиновый лист».
А? Хорошо? Не правда ли? Вот вам еще:
«В бочке лежали сельди, как сельди в бочке».
Ну, и так далее. Здорово? Новая школа?
Идиоматики. Я ее сам придумал.
Уже записалось целых четыре поэта,
Включая, конечно, и вас.
　　　　　　　　　　— Меня не включайте.
— Как? Почему?
　　　　　　　　— Я сам основал теченье.
— Ах, так? Любопытно. Какое же?
　　　　　　　　　　　　　　— «Карликизм».

— И сколько же вас?
— Один и больше не будет.
— А я?
— Простите: Это *мое* теченье.—
Галинский вздохнул и обиделся. Мы пошли.

В низкой каюте, обклеенной вместо обоев
Плакатами всех пароходных компаний мира,
Люди сидели, как сельди в бочке, однако ж
Никто не дрожал, как осиновый лист: жара!
И все-таки, может быть, благодаря океану
Все здесь казалось просторным, даже безбрежным.
Или, быть может, женщина, что сидела
За председателем и улыбалась — не знаю...
С белым песцом на коленях... И улыбалась...
Лет двадцати семи. Не знаю. А впрочем,
Мне совершенно-решительно безразлично,
Что эти люди могут сказать о стихах.
— Прошу! — говорит председатель. Я встал во весь рост,
Чуть прищурил глаза, чтобы не видеть
Женщины с белым песцом, как жмурились греки,
Чтобы не видеть Венеры,— и звонко начал!

Осень

Сквер. Афиша «ВЙВАТ»! (Скетч)
В ресторане раки, вина.
Море шумит раковиной.
Мягкий знак на вывеске
Еле держит речь.

Это клен. На нем тузы,
Как один — червонной масти.
Он тасует, не тужит,
Он, видать, картежный мастер.
Вот он скинул сразу три.
(Он в «три листика» играет?)
Он краснеет, прогорает...
Гол останешься — смотри!
Мягкий знак скрипит, скрипит.
Надо бы его скрепить,
А не то — сорвется в сквер,
Обернется буквой эр.

Он срывается и вправду —
И писателя с копыт!
Бедный автор, бедный автор!
Он, наверное, убит...
И толпа рядит и судит.
Не поймет она никак:
Ничего-то мне не будет —
Это ж мягкий — мягкий знак!
«Вы, голуба, сил не тратьте:
Ведь у вас, голуба, жар-с!»
Из витрины рифмы ради
Спрыгивает пестрый барс,
А за ним нутрия.
Сидят оба без внутренностей,
Без рта, без ушей —
Хоть завязочки пришей!

Клен жужжит, звонит и сыплет
Черно-пурпурную замять.
Вот появится косы плеть
И возьмет себе на память
Самый алый, самый сиплый,
Червой вырезанный лист,
Звонкий и сухой, как Лист.
И, задумав, чье-то сердце,
Неизвестное и ей,
По традиции инерции
Прабабок и идей,
Столь живучих в наших музах,
Слыша шум кленовых музык,
(Шум, который так люблю!)
Впишет кровью: «I lave Jou» [1]
И в напутствиях горячих
(О, вы, первые азы!)
Этот бронзовый язык
Опустит в почтовый ящик.

Обстрел начался по кругу слева направо.
К в я т к о в с к и й. «Стихи о-очень хорошие. Очень!
В них есть та-такая сумасшедшинка, которая, увы,
Уже испарилась из пу-узырька поэзии.

---

[1] Ай лав ю — Я люблю вас *(англ.)*.

Пишите, Ней, и чихайте на все. Но бойтесь
Пастернакипи и Мандельштампа. Ко-кончил».

Огромный Багрицкий, серо-седой, мохнатый,
С орбитами, клювом и всем опереньем орла,
Взглянул саркастически исподлобья и молвил:
«Лихой воробушек пришел,
Пастернакапнул и ушел».
(Смех.)
Адуев. «Неверно! Евгений Ней самобытен!
У Нея законченный почерк, манера, стиль!
Свои особые неевские приемы!
Взгляните хотя бы, какой это крепкий хозяин,
Как он умеет из каждого образа выжать
Все, что он может дать. Этот мягкий знак,
Который грозил обернуться буквою эр —
Это уже само по себе прелестно.
Но автору мало. Автор дает анекдот:
Мягкие знаки и убивают мягко.
Тот же прием повторяется дальше. Клен!
Уже одно сравненье с червовым тузом
Ново, свежо, прекрасно! Но этого мало:
Он три листка превращает в «три листика». Ясно?
(Есть такая карточная игра.)
Но мало и этого. Черва становится сердцем,
А сердце посланьем и даже с почтовой маркой.
(Реплика Туманного: «Этого не было».)
Было!
Раз я, читатель, увидел — стало быть, было!!
А строфика? А синкопы? Наконец, рифмы!
Я считаю, что Нея нужно привлечь вообще».

Туманный. «Мне эти стихи определенно
не понравились.
В них есть какая-то надуманность, которой
не веришь.
Например, этот барс, что спрыгивает «рифмы ради».
Ужасная гадость!
(Реплика Адуева: «Чудесно!»)
И все-таки по сравнению с Колей Галинским
Это Вильям Шекспир!»
Ушаков засмеялся:
«Ползет муравей,
Муравей мировой,

А за ним муравей
Еще мировей!»

(Смех... Аплодисменты.)

Вера Инбер, маленькая, как дитя
Среди своих богатырских братьев,— сказала:
«Вы знаете? Товарищ Туманный прав.
Вы не настоящий. Понимаете? Вы как барс,
Но не лермонтовский, а вот именно из рекламы.
Нарочитая шалость какая-то. Шутовство.
И это жаль, потому что в самом финале,
Что ни говорите, а подлинная тоска!
Этот кленовый листок с английскою фразой...
(Реплика Адуева: «Звучит совершенно по-русски».)

Дело не в этом. Этот листок откровенья,
Опущенный в ящик неведомому адресату.
О, в этом есть лиризм! Как это больно...
Осень. Опавшие листья. В скверике пусто.
А ей лет пятнадцать, даже четырнадцать. Правда?
Ей не хватило весны. Ну, скажите: да?»

З е л и н с к и й: «Согласен. Но вот возникает вопрос:
Каков социальный вес этой миленькой штучки?
Прежде всего отметим ногтем черту,
Как говорят философы, *ригоризма.*
Мир потерял причинность. Огромная буква
Не убивает: это ведь мягкий знак.
Барс приходит в движение рифмы ради.
Туз? Отлично. Сердце? Можно и это.
Тут говорят о стиле, манере, приемах.
Приемы, конечно, есть. А логики нет.
(Г а л и н с к и й: «В поэзии логика не нужна».)
А смысл?
                («И он».)
                                Но тогда нужна ли поэзия?
(«Мы действуем на подсознанье».)
                                                Прекрасно. А цель?
Цель-то какая? Во имя чего эти рифмы?
Забыться? Окутаться дымкой? Подняться
                                                        над битвой?
(Г а л и н с к и й: «Какая же дымка при этаком
                                                                глазе?
Ведь он же, товарищи, видит душу вещей!»)

Вещей, но не явлений. А в этом все дело.
Евгений Ней представляется мне существом,
Костяк из которого вынут. Осталась медуза.
Студень какой-то с выпученными очами.
Вот он и смотрит: это похоже на это,
А то на то. (Окруженьице млеет от счастья,
Кричит, что сие — Дебюсси, Озанфан, Корбюзье,
И собирает на монумент монету.)
Что ж мы имеем? Реакционнейшую часть
Правого крыла мелкобуржуазной богемы,
Которая хочет, я повторяю, забыться
До пробужденья от «зова трубы». Напрасно!
Зов не раздастся. Можете быть спокойны!
Председатель *(задумчиво и обратясь не ко мне, а как бы к собственным мыслям...).*
«Когда-нибудь, вероятно, историк скажет:
«В эту эпоху велась борьба за пшеницу,
За нефть, металлы, уголь — но самой свирепой
Была борьба за Слово, ибо велась
Не на полях, не в воздухе, не в океане,
А в самых тайных кумирнях нашей души».

Как я очнулся один под небом — не помню.
Крикнул? Выбежал? О, это было ужасно...
Это была уже явная встреча с эпохой,
Страшная, словно встреча с тигром. Нет-нет!
Я поступил как надо. К тому ж неизвестно,
Как обернулось бы все от моих ответов.
Я наступал бы... Я б не смолчал... О, боже!
Откуда такая ненависть? Что я им сделал?
Я только лепет ручья. Безобидный лепет.
Зачем же, зачем эта злоба?
Я долго бродил
По кривоарбатским, у сквериков, на могильцах
И заново, заново слышал все голоса.
Так прошел час. Или больше. Я вышел к дому.
Как умирающий, медленно поднимался
На старый чердак. Толкнул свою дверь. Темно.
Часы, очевидно, испортились. Но в окне
Сияло созвездье. Я подошел к нему.
Темная башня, зловещая и слепая,
Казалась на этих планетах одетой в траур.
Далеко внизу мостовая к себе манила,
Как манит заводь в душную ночь. Я подумал,

1. Илья Сельвинский 1923 г. Москва.

2. Литературный центр конструктивистов: А. Квятковский, В. Асмус, Э. Багрицкий, К. Зелинский, Н. Адуев, И. Сельвинский, Б. Агапов, В. Луговской, В. Инбер, Г. Гаузнер, Е. Габрилович (Москва, 1925 г.).

Что если вдруг перегнуться — и вниз головой,
То на секунду во мне опрокинется город.
Пока я стоял да раздумывал — стало понятно,
Что в комнате кто-то есть. Не обернувшись,
Я только спросил: «Кто?» — и услышал вздох.
Рывком плеча откинулся я от башни,
Передо мной в темноте на уровне плеч
Что-то белело. Снежное. Что-то от пены.
Песец! — Я подумал и сразу же понял все.
«Простите! — сказала она.— Это так печально.
Зачем вы ушли? Один?»
Она волновалась.
С трудом находила слова.
«Что вам угодно?»
Песец поплыл мне навстречу и снова замер.
На миг от него отделились два белых пятна́.
Перчатки? Женщина стиснула руки.
«Простите,
Если... Вам неприятно...» Перчатки исчезли:
Женщина снова держала руки у горла.
«Когда они Вас бранили — Вам было больно.
Вы не сумели этого скрыть. Ну, что ж.
Это естественно. Вы так наивны.
Но вот... когда говорил последний оратор,
Вы стали спокойны. Внешне очень спокойны.
И тут-то сквозь ваше лицо проступило другое.
С запавшими веками. Тонкое. Восковое.
Не надо этого! Милый! Ваша дорога
Только еще начинается. Вы прекрасны!
У вас изумительный дар. Я не льщу — поверьте,
Но только... Вы не рассердитесь, да?»
Перчатка
Легонько коснулась моей дрожащей руки.
«Правда! Подумайте: целые поколенья
Лучших людей России, лишенных слова,
Шли через тюрьмы и тихо стучали в стены:
Так заставляли они разговаривать камень.
И камень поднял восстанье.
Зачем же теперь,
Когда эти люди раскинули все каменья,
Вы почему-то ищете ветхий камень
И тихо стучите. Кому? Зачем? Для чего?»
«Для камня! — ответил я.— Камень — мой
собеседник».

«Но вас уничтожат. Послушайте: эти стуки
Больше невыносимы. В них перекличка
С чем-то не нашим и грозным. Нам чудятся в них
Злые призывы к демонам разрушенья.
Надо же чувствовать Время! Оно ревниво.
Оно подозрительно. Воспалено от муки.
И все переводит к бою. Оно вам скажет:
«Барс не для рифмы спрыгнул, а для того
Чтоб убить единство Поэта и Массы!»

Я засмеялся: «Господи! Снова газета!»
Это было ошибкой. Она замолчала.
Обе перчатки снова зарылись в мех.
Тут я заметил, что дама выше меня,
И это меня раздражило: «Что ж вы молчите?
Вы полагали, будто я так ничтожен,
Так бесконечно жалок, что стоит только
Ласковое словцо... Постойте! Куда вы?»
Но Белый Песец уже покрывался туманом.
Стал синеватым. Веющим. И растаял.
Я крикнул: «Вернитесь!» И эхо сказало: вернитесь,
Но дама безмолвна. Дама была жестока.
Она понимала, что мне теперь горше, чем прежде.
Но я оказался не тем, каким рисовался
В ее дружелюбном сознанье — и мог исчезнуть.
Пришла она матерью — уходила Дианой
С белым песцом вместо белого гончего пса.
Четкая поступь вилась по спиралям лестниц,
Мощная дверь внизу с полновесною гирей
Заскрежетала — и грохнулась крышкою гроба.
Через минуту дама прошла под окошком,
Оставив меня с моим трупом наедине.

1925

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЕВГЕНИЙ НЕЙ

ШЕЛКОВАЯ ЛУНА

Сборник
посмертных стихотворений
с портретом автора и
критико-биографическим
очерком Н. ГАЛИНСКОГО

1923

ИЗД-ВО «КОНСТРУКТИВИСТЫ»

Москва

Слухом облито,
Взросшее тройней
Шумного уха —

Злое обличье
Карлы на троне
Рыцаря Духа.

Нотные тени...
Город видений
За силуэтом.

Нервность этюда,
Ждущего чуда,
И номер при этом.

ПОРТРЕТ
ЕВГЕНИЯ НЕЯ

1923 г.

Я начал рано. Кончу ране.
Мой ум не много совершит.

Лермонтов

Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум.

Тютчев

ЕВГЕНИЙ НЕЙ

1901—1924

Критико-биографический очерк Н. Галинского

1

Евгений Ней родился в дворянской семье
С французской генеалогией. Воспитанье
Он получил сначала в доме у бабки,
Где занимался музыкой и языками,
А лет с четырнадцати принялся посещать
Классическую гимназию в Ольденбурге,
Окончив которую тотчас уехал в Москву.
Нрав у Евгения Нея был одичалым.
Недаром при нем никогда не бывало женщин.
Как-то, еще в Ольденбурге, он видел на пляже
Девочку лет пятнадцати... (Возраст мадонны!)
Это виденье было, однако же, кратким.
Хотя поэт описал его в странном эскизе,
Который я предлагаю назвать стиховедам
«Пушкин — Ней» наподобие «Вагнер — Лист»
Или «Бах — Бузони» — но все-таки тем не менее
Едва ли можно считать эту детскую грезу
Женщиной в жизни поэта. Пример Беатриче
К данному случаю неприменим: ведь Данте
Знал ее с детства. Отец его — Алигьери
Чуть ли не друг отца ее — Портинари!
К тому же известен супруг ее — деи Барди.
А что мы знаем о девочке этой? Пляж?
Здесь границы исследования о поэте
Естественно замыкаются навсегда.

За несколько дней до смерти Евгения Нея
Его, по рассказам соседей, вдруг посетила
Какая-то статная, очень красивая дама
В белых перчатках с раструбами и в песце.
Одни уверяют, что был тот песец — белым.
Другие — что голубым. По мнению третьих,
Речь идет о канадской черной лисице,
Имевшей процентов семьдесят серебра.
Не смея отвергнуть любую из этих версий,
Касающихся горжетки,— я отвергаю
Саму легенду о даме. Лисица была!
Но дамы не было! Это уж я утверждаю!!
(Все знакомые Нея мной учтены,
А незнакомым не к чему и являться.)

Этим исчерпан весь донжуанский список.
Одевался Ней с традицией, но кое-как:
Черная шляпа, без набалдашника трость,
Шотландка из толстого пледа и красный галстук.
Впрочем, имелись еще два цвета: один
Был черный в полоску, другой в горошек, но белый.
Их Евгений обычно не надевал.
В особенности последнего. Первый чаще.

Анекдоты о Нее отсутствуют. И понятно:
Юмором юноша не обладал. Однако
Он умел чрезвычайно тонко, даже изящно
Делать друзьям комплименты, а это, пожалуй,
Особая грань остроумия. Думаю так.
Могу привести такой анекдот. Однажды
Мы слушали вместе балладу. По окончании
Я обратился к Евгению Нею с вопросом:
«Что скажете, дорогой, об этой пиэсе?»
«При всяких условиях обратное тому, что вы!»
Этим ответом Евгений дал мне понять,
Что оценка его по сравненью с моей — ничтожна.

2

Умер Ней двадцати трех лет. Но нам
Остался томик лирических стихотворений
«Шелковая луна». Несмотря на то
Что в сборничке этом немало различных влияний,

Где Лермонтов и Моргенштерн, Багрицкий и Тик,—
Книга оригинальна и самобытна.
(В солянке — оливки из Турции да венские
сосиски,
А в общем, солянка подлинно русская вещь.)
Откройте страницу. И сразу четкий «Сонет»,
Являющийся программным credo поэта,
Дает афоризм тютчевского «Silentium!»,
Как раз обратно прямому смыслу его.
«Да,— говорит нам поэт,— изречение ложь,
Но, ставши стихом, она есть высшая правда».
Вот эта высшая правда стиха свелась
К борьбе палитрово-клавиатурной стихии
С логикой здравого смысла. Стихи — это ноты!
Стихи — это спектр! Все остальное — быт:
Любовь, государство, религия — что угодно.

Отсюда стремленье уйти в пейзаж на шкатулке
И в нем поселиться под перламутром луны;
Отсюда линия неевских ассоциаций,
Поразительная неестественность их. (Например,
Эта сентенция: «Гайдна звали Иосиф».)
Отсюда игра в предметы, которых нет:
Буквы, похожие на кренделя и яйца;
Лист, по жилам которого можно гадать;
Рыцарь, очерченный звездами...
К сожаленью,
Создав небывалый в поэзии стиль, Евгений
В битве своей со Смыслом пал пораженным:
В конце пути он стал себя числить вождем,
Будящим якобы в каждой кухарке Музу,
Иронизировал над своим соллипсизмом
И даже... впал в агитацию («Первое мая»)!
Таким перед нами рисуется образ поэта.
Так обнажим же голову у могилы,
Где безвременною кончиной почил певец,
Пускай не перворазрядной силы и мысли,
Но истинной страсти.

Н. Галинский
Москва

СОНЕТ

Мысль изреченная есть ложь.

Тютчев

«Мысль изреченная,— сказал он,— ложь!»
Какое чувство в песню ни вольешь,
Оно становится фальшивым сплошь.
А потому: молчи, таи, скрывайся.

Но, Муза! Этой мгле не поддавайся:
Не надевай перчаток и галош.
Живи нагой! Лишь в одеянье вальса!
Поэзия права и в самой фальши.

То правда зачарованных описок,
Особый мир, что лунатизму близок,
Хоть и незрячей бродит в нем душа.

Доверься же неприрученной песне.
Она не та — но дивно хороша!
И Ложь ее всей Истины прелестней.

Ольденбург.
Берег моря
1922

* * *

Родиться, и рождать, и умирать,
Чтобы потомство все это сначала —
Родилося, рождало, отмирало,
А эти тех, и так за ратью рать,
Родиться, и рождать, и умирать!

Но если и приставить палец кó лбу,
Загадки этой нам не разрешить.
Дано ли нам превечное свершить,
Иль пузырьками пущены мы в колбу —
Мы рождены. Вот факт. Давайте жить.

Неевка
1922

ПЕЙЗАЖ

Моя шкатулка из Китая,
Где «до-ля-си» поет замок.
О, если бы, о, если б мог,
Черноянтарная, литая,
Войти в твой вычурный пейзаж,
Где льется розовой волною
Под перламутровой луною
Квадратной рыбы звездный кряж;
Где тьма, глубокая, как мысль,
Где тьма, но черная, как стыд,
В шитье каких-то чайных чисел
Блистает, блещет и блестит.

Неевка
1922

ГАЙДН

Лоснится жиром золото волны
И бонзами качает валуны.
Как бабье лето, льются провода
На панораму улиц из витрин,
Где можно и спиною увидать [1],
Где музыка над дверью: тили-дринь.

Я вспомнил верный колыбельный треск.
Я вспомнил анатомию рояля,
Который внешне был закован в блеск,
Но органы которого рыдали.

Слоновоклыкий яростный добряк...
Слепя клавиатурой, как манишкой,
Напоминал он фалды черной крышкой.
Короче: был одет в концертный фрак.
Но вот как бы для бокса или драки
Стремительно и гневно, как мистраль,
Идет Нейгауз в манишке и во фраке,
Напоминая маленький рояль.
И два артиста в черно-белой гамме
Схватились насмерть! Человек зверел:
Он зверя бил руками и ногами,
И тот вознесся в колокольном гаме
И пал, очеловечась, у дверей.
О, эта дверь... Ты слышишь: тили-дринь!
Капель моих невыплаканных слез.

---

[1] Здесь несомненно поэт имеет в виду отражение совершаемого за спиною *(Н. Г.)*.

Так начинался гайдновский bercense [1],
Так игрывала мать моя, Катрин,
В умершем детстве. О мадмуазель,
Вы помните ли Гайдна? Эту трель?
Но женщина, в меня презреньем бросив,
Сказала сухо: «Гайдна звали Иосиф».

---

[1] Bercense — колыбельная песня *(Н. Г.)*.

БРОНЗА[1]

У меня в кабинке на сером шкапу
Прекрасная голова Байрона.
Море стоит посредине окна,
Море живет в зеркалах на стене,
Море дышит испариной.

И когда по утрам кабинка моя
Розовеет в янтарном пламени,
Я смотрю на шкапу в шоколадный чугун,
И смотрю. И хочу. Чтобы эта. Губа,
Сдвинувшись, позвала меня.

И вот по меди надменных ноздрей
По раковинам, по челюсти
Хлещет заря, и порхает блик,
И потная бронза в тике пятна
Дышит нервною прелестью.

Но губы обрубленной головы
Стянуты чопорной яростью,
Пустые белки на средине окна,
Где море стоит, где мореет в туман,
Чайка серого паруса.

Ольденбург
III. 1924 г.

---

[1] Смотри июньский номер «Нового мира» *(Н. Г.)*.

ЧИТАЯ НАПИСАННОЕ

Что есть поэзия? Непостижимый туман?
Белая плешь на географической карте?
Отчего все изгибы коммерческого ума
Над этой строкой пульсируют странной жизнью?

Что есть поэзия? Просто ли лунный гипноз?
Алкогольной наследственности золотое похмелье?
С ней каламбурит шут, наклеивший нос,
Она гвоздями ложится в лозунг цареубийцы...

Отчего между тем, что потная бронза на шкапе,
И тем, что рыбацкий парус на горизонте,
Есть какая-то связь, какая-то связь капищ,
Какая-то связь, вянущая от догадок?

И если в окна посыплются злобные камни,
Если ждет любимая, если друг умирает,
Я не прошу пера, не пораню строфы — ерунда мне.
Что есть поэзия? Что?

Ольденбург
III. 1924

ПУШКИН — НЕЙ

Я помню чудное мгновенье —
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Передо мной явилась ты,
Как гений чистой Красоты.
Я помню чудное виденье,
Как мимолетное мгновенье,

Как мимолетно! Но виденье,
Где предо мной явилась ты,
Как гений чистой красоты,

Я помню!
Чудное мгновенье...

ПОЭТ

Обычно, когда говорят «Поэт»
С прописной буквы и жирным шрифтом,
Думают: Байрон или Поэ,
Скорбь мировая, летучая рифма.

Нет, моя цель чрезвычайно тиха:
Ежедневно глотать, как пилюлю, счастье,
Подойду к карте, прочту «Техас»,
Увижу ли отмель в собачьей пасти —

Я впиваюсь. Как ростовщик,
Коплю монетки всех ощущений,
И в жизни своей я не чувствовал щемени,
Даже меняя бульон на щи.

Верь в случайность! Умей приобресть
Все, что видишь, но без реалий:
Змея в аптеке? Используй, как весть —
Горький намек своей милой крале.

Крали нет? И то не беда:
Найди полумаску — ну, вот и краля,
Шура́ми унизаны провода —
Ставь же их нотами у рояля.

Нет рояля? Меня спроси:
А зубы прохожих не клавиши, что ли?
Желтые «ре», золотистые «си»,
Дырки же могут сойти за бемоли.

Идеалист? Не Романтик? Едва ль-с!
Мой стопузыристый глаз мухи
Выжигает грибки паутинной муки,
Апатии и сплина старинного, как вальс,

Нет! Я вождь! Я зову, я учу
Встряхивать нервы от «А» по «Э»,
Чтоб каждый открыл в себе Индию чувств,
Чтоб каждая кухарка была поэт [1].

---

[1] Эти стихи для Евгения не специфичны. Здесь несомненно влияние конструктивистов. Может быть, Маяковского. Жаль *(Н. Г.)*.

ПОРТРЕТ ДАМЫ В БЕЛОМ ПЕСЦЕ

Я буду точен, как писец,
И опишу лишь фактики.
Во тьме у плеч белел песец,
Дыханье белой Арктики.

Хоть комнатка моя была
С небесной твердью смежною,
Но — темнота! И лишь бела
Пена зверя снежного.

Я вопросил по мере сил,
Контральто мне ответило.
Я, усмехнувшись, возразил
(А было мне невесело).

Она сказала. Я сказал.
(О чем таком —не помню я.)
Отверзлося моим глазам
Безмерное. Огромное.

Я мог крылами обрасти
И воспарить над бездною!
Любовь я мог бы обрести
Прекрасную! Небесную!

Она белела надо мной,
Как снеговое облако...
Но было мне с моею тьмой,
С моею болью тепленько.

Игрушек жалко наконец,
Да красок, да бубенчика.
И тает предо мной песец,
Отшелестела женщина.

Избрал я сам назло себе
Блокнотик вместо хартии,
Да... Видно, дело не в судьбе,
А в собственном характере.

Большая щедрая душа
Волною океанскою
Пришла, ошиблась и ушла,
Чуть замаравшись краскою.

ЛИРИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Скелет мой выпростал себя
Из туловища. Соскребя
Брезгливо с левого берца
Кусочек нерва, оперся
О скользкий скат из моих мяс
И сухо выскрипел, смеясь:
«Я долго жил. Я жил в плену [1].
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог
Я променял бы, если б мог.
Но не до смеха мне, мой друг,
Мир созидается не вдруг,
И ветошь опытов твоих,
И дум и вкусов попривык
Таскать на костяных костях
Окостенелый твой костяк.
Я долго жил в кровавой мгле,
Хоть бел да сер. А на земле
И римляне и остяки
Свои слагали костяки.
Когда ж, отбросив слово «да»,
Ты стал прозрачен, как вода,
В растерянности — целый мир
В моих глазницах задымил,
Но ты с отравленным умом
Сопротивлялся электри-
честву и год, и два, и три
Под желчным пузырем, как «ом».

И стрелы молний городских
Как бы на башнях из доски,
Указывающие путь,
Прошли,—и вот я заряжен.

---

[1] Четыре строки из лермонтовского «Мцыри» *(Н. Г.)*.

Ты только нервов перепуть,
Ты смяк — а я хоть на рожон.

Итак, adieu! Я выйду в мир
Основывать четвертый Рим,
И фосфор из моих костей,
Крестом уложенных в фонарь,
Им осветит бездолье нар,
Им осветит и ночь и степь
Немного, правда, на три па,
Ну что ж, была б видна тропа.

Но в этих поисках борца
Не позабуду, о, клянусь,
Тебя, мой бывший. Из берца
Я флейту сделаю. И гнус
Моей безносой личности,
Дудя в дупло отличный стих,
Но сочиненный не тобой,
Дивизии направит в бой».

И он ушел с бильярдным лбом,
Весь в аксельбантах из ребра,
Блестящий атташе Чека,
Посвистывая соловьем
В дырявый зуб из серебра:
«Соловей, соловей,
Пташечка».

Москва
VI. 1924

АНЕКДОТ

Трехпалый лист в агонье
Слетел и сел в пыли.
На огненной ладони
Три жилки залегли.

Но я, известно,— верчен,
К реальности я слеп.
В трех линиях очерчен
Намек моих судеб.

Не бабушка-ворожка,
Не попка и не Кант —
Пророчит мне дорожку
Ноябрь-хиромант:

— Поедешь, дескать, в Питер,
А там уж — будь здоров! —
Так говорит «Юпитер»,
Один из трех перстов.

Не надо Петербурга.
Не вниду в кутерьму:
Я в дыме из окурка
Туман его пойму.

Но возвышает голос
Прожилка — «Аполлон»:
«Сердца зажжешь глаголом
И мир возьмешь в полон!»

Но мир певцу помеха.
Доволен я вполне:
Стихи читаю эху,
Читает эхо мне.

Но вот черта «Венеры»
Елену мне сулит:
Шаги, волнуя нервы,
Звенят о мрамор плит...

Не надо, о, не надо!
Оставьте! Я такой!
Мне слаще, чем наяда,
Сигарный мой покой.

Как я боюсь увидеть
Во сне вторичный сон!
Я должен ненавидеть
И пурпур и вессон.

Но это ведь непросто,
Когда в листе Судьба.
Спаси меня, о проза!
Поэзия слаба...

И тут я лист опавший
Хватаю невзначай
И, кипятком обдавши,
Завариваю чай.

И вновь кейфую в дыме,
И невредим и цел,
Как некий подсудимый,
Что сам улику съел.

ЮМОРЕСКА

Буква «О» похожа на яйцо.
Буква «В» напоминает крендель.
Сделавши довольное лицо,
Ел я эти яства и не бредил.

Чем тебя попотчевать еще?
Ты, я знаю, враг чревоугодий.
Муза, муза! Детское плечо...
Пламя в светлячковом хороводе...

Ты со мною даже в букваре.
Ты со мной? И ничего не надо.
На простой гребенке буквы «Е»
Я тебе сыграю серенады.

Счастлив я! Не всякому уму
Удалось вот так отвеять душу.
(Форточку открыть бы... Почему?
Душно? Пустяки. Совсем не душно.)

Смотрит башня белая, как мел.
Звезды чей-то призрак обметали.
Я доволен. Кто еще сумел
Сам себя замуровать в металле?

Я Вас уважаю, мистер Ней!
Ней... О да! Он любопытно пожил.
Буква «Г» не с виселицей схожа ль?
Не повеситься ль на ней?

ЗВЕЗДНЫЙ КОНЬ

Острый рисунок созвездья Коня,
Рыцарь, очерченный звездами,
Пустым галопом по степи гонял —
И ужасы были им возданы.

И ужасы были. Горела степь.
И звездный наездник близился
Туда, где танцевали тустеп,
Где мир задыхался от кризиса.

Так здравствуй же, Рыцарь, в кольце блокад
Хоть звездный, но рвущий звенья,
Баллада ли ты или только плакат,
Халтура или откровенье.

ПЕРВОЕ МАЯ

Здравствуй, Первое мая!
Ветер флажками полощет
И, красное знамя вздымая,
Плывет на Красную площадь.

Я тоже в красную стаю
Включаюсь, как он, умиленный,
И чувствую: вырастаю,
Помножив себя на мильоны! [1]

1924

[1] Как быстро пошел Евгений к газетной прозе: это уже почти Безыменский *(Н. Г.)*.

ПУШТОРГ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ну-ну, дорогая, пора вам:
Отгадайте, в котором ухе?
В левом? О моя Пуха,
Ты права, как всегда: в правом.
У-ти-та-кие домашние,
Как чайница, полная квитанций,
Как ссора на кухне с Машей,
Чей австриец уехал в Данциг;
Такая моя интимная,
Как в слезах увеличенная строчка,
Как песня таримна-тимна,
Как пятнышко на сорочке;
Как пролежни на сорочке,
Гипсирующей твое тело
Даже тогда, когда срочно
Владелица разделась.
Ах, это не те твои стороны,
Обаяночка моя, светик...
Как это чудно с твоей стороны,
Что ты существуешь на свете.

ПРОЛОГ

У-у-ý-уý... У-ý?-у... Метелица... Дым...
Белая медведь. Серое море.
Как осьминоги, как медузы по клыкáм скáл,
Полярные льды переливают лунами.
Белая медведь под пургуу вылазит,
Белая медведь суо ньеми пурга,
У ней мех обледенел сосцами на брюхе
И такой голубой, как в сиянии небо.
Белая медведь кой ден голодует,
Только прóдух тюленúй не чернеет во льдах,
Только нетуу белухи и песец упрятался,
А на отмелях пена да морская капууста.
Белая медведь на большоой льдиине,
Ничего не пахнет, хотя нóс мóокрый...
Паай паай льдина
Кэди саари вурунга
Белая медведь. Серое море.
А во том во море
Купалсú бобер,
Кýпалси — купáлси, да
Не вы́купалси.
Не выкупалси
Да весь вымаралси.
Он взошел на бéрег,
Отряхывалси.
От-ряхы-валси
Да отфыркивалси,
Нá óбé бéбря́ны́
Охорáшивалси.
Охорашивалси,
Оголядывалси:
Не свищет ли кто,
Не ищет ли что?
Охóтни́чки́ ры́щут,
Чернá-бобра ищут,

Хочут устрелити,
Маше шубу шить.
Маш шуб шить,
Бобром обложить.
Нé лучше ли мне, áсь?
Жи́вóмý пóжи́ть,
Живóму пожити,
Молоденькому,
Молоденькому да
Золотенькому...

Как стрельнул зырян,
Как пальнул зырян,
Под низок ребра
Кувырнул бобра.
Ковырнул бобра —
Нету серебра,
Не седой, не спелай,
Не купеческай.
Ругалси́ зырян:
Загубил заряд
За хвостяк за плевый
Десятирубалевый.
Сдумал пособить,
Погоди́л
Би́ть.
Он угоня́л óт воды́
Мáлóдéнькáвá.

Бобринька-бобруня,
Бобрушечика,
Уж бежал, бежал,
Уж дрожмя дрожал.
Вставала заря-а?
Заря а-ла-я,
Она алая
Опускалыси —
И бежал зверок,
А гонял зверян
По клочкáм, по кочкам,
Перекатинам.
А как ночь — бобер
Падал с-под колень
На óбé бéбряпы,

Прилизывал раны.
А как ночь — зырян
Лягал под корень
И видал увечьи,
Гла́за́ че́ло́ве́чьи́.
Глаза человечьи
Горемы́чнай,
Да щенячья вздоха
Изо мха — из моха.

А заутра снова
Закружилиси
Друг за дружком, словно
Подружилиси.
Только очень вскоря
От беды да с горя
Сединой попер
Молодой бобер.
Засивел, стомилси,
Морозцем пробилси,
Северною солью
Пух осеребрилси.
Хоть молод бобер,
Да, как луна, седой —
В весеннюю рань
Поседел от ран.

Увидал зырян —
Обрадовалси,
Что по ости холодь,
Хоть бобер и холост,
Хоть молод бобер,
Да седатым стал,
Пушни́но́ю ста́р —
Хоро́ший това́р.
Доставал разбойник
Зверобойный нож —
Был бобер храбер,
Кусалси бобер.
Кусалси бобер'ы
По́ра́не́на́нно́й,
Тосковали очи,
Как зыряна дочи.
Был зырян добер,

З. И. Сельвинский 1937 г.

4. И. Сельвинский 1939 г.

Да богат бобер —
Взрезал дыль[1] и лапы,
Капли не закапал.
А рванул с хвоста —
Брызнула звезда;
Кровавый да голый,
Заскулил на голос,
Сделал два шага,
Обливаючись,
Подрывая вьюгу,
Зачернел по кругу...
Нигде не закапал
Шубку дымпую,
Даст купец Рублев
Теперь сто рублев.
О-го-го-оой огой васки ранда пала́.
Море. Море. Сивое море.
Как великую стаю через тундру птиц,
Понеслип ветра его красные запахи.
Белая медведь пососала носом,
Белая медведь суо ньеми пурга.
И вот в намет побежала медведь
И раз и раз-два и два-три и пять палец.

Зырян уходил — гоняла медведь.
Зырян на сосницу, а медведь ожидает.
Заря умирала. Вставала заря.
Ожидает медведь. А медведь-то ожидает...
Был молод зырян — стал как луна.
Северной солью башка серебрится.
Сосницу качает. Седеет зырян.
Ожидает медведь. А медведь-то ожидает...
Белая медведь вырастала на дыбы!
Зырян был храбер: он дралси-кусалси,
Но зверь обжег его косматою лапой,
Задрав его шкуру от затылка до глаз.
Зырян сделал шаг, другой — и пал.
Синее море золотом дуло.
И только две кочки седеют рядком —
Бобровья одна, человечья другая.
А медведь ковыляет
Клюкву-ягоду искать,

[1] **Дыль** — брюхо.

Клюкву-ягоду искать,
Человечиной икать.
А на мишке-то шубеха
Вся медыве-жа-я,
Вся медвежая шубеха,
Белоснежная;
По хребту седая ость,
Под хребтом — сырая кость,
Сивы в выси ребера́,
С пуза высереберян.
А хорош он, белобрюхой,
Не оха́ишь ничего,
Только бедному мишухе
Делать не-че-го.
На раздольях он, уклюжий,
Со снежком балуется,
Довalандается к луже,
На себя любуется.

Москва
II. 1927

ГЛАВА I

...На миг покрыл трамвайный звон
Шум улиц. Но под синей сеткой
Рысак отмашет вымах свой,
Свой цокот музыкально-редкий.
Навстречу просмердит обоз
Ассенизационных бочек,
Но вновь дыханье вешних почек
Из парка ветерок донес...

(Эскиз к описанию города)

1

Цветные дымы в пятый час.
Из дыма, сурика и загара
Возникла сусальная церковь заката,
Каплями колоколов сочась;
Но декоративная кутерьма
Восходит к ликам Николы, Корнея,
Все голубее, серее, чернее
В ладанный оседая дурман.

2

На феерию, точно в гости к боженьке,
Зрительный зал автобуса полз;
Огромыхнул сифонные бочки
Ассенизационный обоз;
И знаменитый нищий с широкой славой,
Какой позавидует лучший поэт,
Культяпкой ловил толпу на обед:
«Братишечки! Доктор! Архитектор!
Бакалавр!»

3

Чертики, пищащие: «Уйди-уйди-у»,
Пузырились, высунув красные жала;
Цветными огнями их отражала

Асфальтированная земля.
Но по-над тучей башня Кремля,
Шахматную повторяя ладью,
С галкой, устало прикрывшей веко,
Являла пейзаж X века.

4

Татарской Казанью удельная Москва
Пряталась по тупикам и проулкам,
Косила бульваром, где с топотом гулким
Под бубен пляшут медвежьи пыжи́ [1],
Куда приходят тоску тосковать
Крахмальные няни в яловом теле,
А ночью — пикассовские апаши,
Набросанные синею пастелью.

5

И кое-где безымянные тезки
В асфальтовых чанах с лицом упыря,
И модный нарцисс, чахоточно-яркий,
Насвистывающий арию «То́ски»,
И с конницы Триумфальной арки
Черные радиорупора,
Где делегатка Узбекистана
Цокала и гортанно свистала.

6

Мелькнет особняк. Булыжный лев
Пухло улегся в уездной дреме.
Но, белым гербом коронуя ворота,
Он просыпается у поворота
На консульском флаге. И, сон одолев,
Электрическим росчерком сыплется в громе
Льющихся проволок и колоннад
Площади, матовой, как луна.

[1] Пыж — звериный детеныш.

7

И снова автобус. В раму стекла
Пейзажем входила парадная улица:
Скверами, львами, баранками тульца —
И тут же на́крестом в небо текла,
Призрачно отраженная сбоку
Призмою задних и боковых стекол.
И плавно крени́ла крыло, как биплан,
Улица, снятая план на план.

8

«Пожа-пожа!» И мотающий редькой
Чахлый сивка на пудных рысях,
И фиолетовый русский рысак,
Вином разлитый на мокром асфальте,
Выплясывающий в пальто на вате
Свой цокот и звон, музыкально-редкий —
Обе стихии, уныло и гордо,
Кружили колеса огромного города.

9

Где население Латвий и Литв,
Где целый Ива́н-город Ивано́вых,
Где целая Винница пьяниц одних,
Где пьяные ночи, где ночи как дни,
Как III акт площадных постановок,
В которой квадрига Большого театра
Стремит Аполлона вихрем битв
На соты приземистого радиатора...

10

Кафе «Бастилия». Кафе «Чашка чаю».
А выше, над крышей, в прутьях лесов
Золото с черным — огромный тигр
Вращает огненное колесо,
В котором звери Уссурья и Щигр,

Тушью ложась на экранный простор,
Мультипликациями величают
Торговую фирму — ПУШТОРГ:
Барс
Барсук
Белка
Бурундук
Волк
Горностай
Зайчина (русак)
Песец
Колонок
Хорек
Корсак
Медведь
Росомаха
Рысь
Куница
Соболь
Сурок
Ласка
Лисица (якутская
иркутская
печорская
орская
русская
горная
бурятская
вятская
черная
бурая
чернобурая).

11

«Общество акционеров ПУШТОРГ
Скупает, вывозит, красит и белит
Пушнину, мех, щетинный дёрг,
Овчину-голяк и овчину ду́бную.
Имеет бобровый питомник (Дубино),
Завод: отбелки и краски (Белгород),
Щипки муфлона (Бий-Урюк),
Марка — тигр, вращающий круг».

12

Прекрасное зданье. Жирное лето
В черных широтах его стекла
Дремлет, точно иконный оклад,
Где каждый главбух — сама богоматерь,
Но даже и образ не без математик:
Миллиметр вбок — и вот по стеклу
Будто разлив золотого омлета
Или сентябрьский парк в Сен-Клу.

13

Среди мезонинов Шуй, Тетюшей —
Американский массив этажей,
Чопорный и тонный,
В воде стекла и дыме бетона,
В иллюминаторах, блещущих сизым,
Сидя на тонких колоннах-атлантах,
Плыл по тучам, как трансатлантик,
С маршрутом на социализм.

14

На социализм! Юнейший из Тóргов,
Слушая севера волчий зов,
В метелице чаек, как кинематограф,
Седой... Однако уж пять часов:
Надо спешить — запоздали.
Итак, мы входим в знакомое зданье,
В камень, шлифованный, точно топаз,—
И я разворачиваю типаж.

15

Впрочем, «топаз» был нужен для рифмы,
Теперь же мне требуется «аметист».
Итак, начнем: Казаров Коринфий,
Внешне — конторщик, внутри — шахматист.
Плывя по теченью рабочего дня,

Он ходит по комнате «ходом коня»,
И, говоря о сибирской ласке,
Всенепременно обмолвится: «Ласкер» [1],

16

Вторым Поповский. Ему — счета
Гербовых сборов. Работа пустая.
Однако Поповский другим не чета —
Он филателист, и даже сюда
Пришли в зазубринах желтый Судан,
Чайные буквы на водах Китая,
Проштемпелеванные цари
И Франция с жестом фригийской зари.

17

Ардатов? Извольте: в два зуба дыра,
Боксер кружка «Москожи»,
Он даже накалывает ордера
Ударами датской кожи.
А Блох? Он в реестрах жесток и колюч,
Выписывает «ф» — как скрипичный ключ,
Да имя супруги — Дорэ
Он произносит как

18

А рядом конторка и абажур.
Впрочем, простите: сейчас разбужу...
Ну вот и готово. Как будто бы проза?
О нет: В. Зайцев — тончайший поэт,
И им с интимным лиризмом воспет
Весь инвентарь парнасских традиций,

[1] Ласкер — бывший чемпион шахматной игры тех лет.

Он неоклассик. Прошу убедиться:
Стихотворение

РОЗА

В саду, в саду
Одна, одна
Я на заре гуляла
И розу, розу
Молоду
Перстами тихо
Рвала.
И думала
Уж я, уж я:
«О роза дорогая,
Как радуюся
Я всегда,
В саду тебя
Сбирая.
Потом, увы!
Ты в хрустале
Расцветши отцветаешь,
Пребудешь долго
На столе
И, о!
Умрешь».

В. Зайцев
Мыза «Ель»
21 (среда) апрель.

19

Эта изящная коллекция клерков
Терпела Пушторг от десяти до четырех,
После чего появлялась церковь,
У иных уборная маленькой актрисы,
У третьих «Вечерка». Сутулые крысы,
Живущие без путей и дорог,
Изредка грызлись над лишней коркой,
Но были терпимой прислугой Пушторга.

20

А дальше каста играющих соло,
Дающих оттенки типажным моделям.
Таков, например, Северьян Полуяров,
Зав Экспортным Отделом

(Не смешивать с братом, который директор.
И о ком ниже). Скупой, невеселый,
Носил бородою три корня из яров,
А нос цветной, как спектр.

21

Серо-седой, но с чалой бусинкой [1],
Будто насадка. На лысине кок,
Зачесанный по принципу «внутреннего займа»;
Сюртук старомодный, как ряса инока,
Также с бусинкой. А из-за фалды
Красный платок с вышивкой «Ялта»,
Подрагивая подагре в подскок,
Висел, точно ухо зайца.

22

За сим, вызывая любовную боль,
Жестокая, как чрезвычайка,
Жила Ундервудка по имени Чайка.
Собственно говоря — Олечку Петровну
Звали окружающие «Оль-Оль» [2].
Жующая резинку, как общее правило,
Она много стучала, еще больше правила,
Впрочем, у нее выходная роль.

23

Гораздо полезней запомнить студента:
                    Саввича Павла (!)
У которого пробор деревенски ровный
И росчерк, нарядный, как Брента.
Причем иногда — какой пассаж! —
Над Брентой, текущей по важной петиции,
Он ставил точку, подобную птице,
И получался пейзаж.

---

[1] Бусинка — чалый волос, встречающийся в мехе иного цвета, преимущественно в белом.

[2] Героиня пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни».

24

Но тот, от которого зависели отпуск
И пр. и которому докладывали об...
Тот это «Он», это «Тсс», это подпись,
Величественная, как Обь.
Каков он? Седой, лысый, рыжий?
Он — председатель правленья. Судьба!
Он изъяснялся кнопкой, как призрак,
Веял холодом морга.

25

Не то заместитель директора Пушторга,
Если только положиться на такой признак,
Как важно выпяченная губа
И розы на жилете из Парижа.
Этот реален, как 25,
И полон чувства меры и веса:
Столкни его в воду какой-нибудь повеса —
Он поправит галстук и вынырнет опять.

26

В стеклянном аквариуме кабинета
В рыбьих очках он сидит, как спрут.
Но когда величественный Труп
Зажжет условные лампочки —
Он вскакивает, выпуча в штамп очки́
И, предупредительно полумокрый,
Думая: «Только бы не то»,
Семенит на цветной окрик.

27

Но в мирное время Лев Семеныч Кроль,
Несмотря на партийность, настоящий король,
Недаром над ним повесили

С библейским профилем льва,
Недаром в гриве его голова,
Недаром против ярости он принимает капли.
В роли зама — Чарли Чаплин,
Впервые выступающий в поэзии.

28

Прежде всего рассмотрим анкету:
Фамилия, имя: Л. С. Кроль,
Лет: сорок. Специальность: нету.
Служба: год работы в ЧК.
Затем комиссар бригады N-Ноль,
Званье: мещанин города Аткарска.
Происхождение: пролетарское
(Сын неимущего часовщика).

29

Грамотность: два класса Городского Уч.
Партийность: коммунист 18-го года.
(К этому прибавить датского дога,
Недорезанного бога, неразрезанного Маркса,
Профессии: от мальчика кино «Луч»
До вояжера фирмы Дрейфус.
При этом все помыслы — выйти с маркой,
Только бы шанс, только б не сдрейфить.)

30

Бунт его поднял, хлестнув по ногам.
Белый негр императорского ига,
С какою яростью в битву прыгал,
Как упоительно бил наган.
Это была отвага страха,
Клерка забитого гневный восторг
С коня звезду на лезвии встряхивать,
С маху окатывать ею простор.

31

Но бой отдымил. И мой Лев Семеныч
Уже навострил легавую гопочь
В ЦК, МК за рукой и порукой;
И, точно беременная свой живот,
Тыча всюду раненую руку,
Он ею дышит, ею живет,
Каркая, точно ученый дятел:
«Братва! Архитектор! Зав! Председатель!»

32

И вот, восседая, радужный Кроль,
Моргая ноздрей и дрожа икрой,
На штатскую должность глядит как на отдых,
Точно на урочище удельного князька.
Пара пустяков, что его грамотность низка:
Боевой дух и железный подбородок —
Вот что расценивает вб сто крат
Кроль, пролетарский аристократ.

33

Он не мечтал о грядущей анархии,
О нищих, которых увидит в бархате,
О ликвидации классов. К чему?
Он ожидал для себя в революции
За кровь в бою — императорские блюдца.
Было бы хорошо ему.
Ему. Понимаете? Кролю. Лично.
Серебряных ложек! Чтоб было прилично.

34

Нет, надо видеть его палец и звонок;
Щегольство словечками вроде «sic» и «ergo»,
Всю физиономию белого негра,

Собранную под медальный лик;
Наконец, на кончике носа блик,
Сосредоточивший всю его ответственную
гордость,
Наконец, усиленный стук ног:
Твердость, твердость, твердость.

35

Надо ж было ж видеть, как с белого ковра ж
Вершил, точно Ричард III в театре,
Как все население повергал в раж
Его героический кхашель;
Как, сидя меж двух телефонных башен,
Он цмокает из зуба, где зеленеет камень,
И, сунув зубочистку в щель между клыками,
Оставляет ее там часа на три.

36

С каким авторитетом подмахнув акты
На куплю шкур, пятнистых, как тиф,
Он скажет, Полуярова опередив:
«Почем стоит эта гигиена?»
И, крайне удивленный, что это не гиена,
А с позволения сказать — леопард,
Иронически усмехнется à-part,
Уверенный, что ошиблись факты.

37

Так в кабинете, где на стене áтлас,
Кроль восседает, власы хорохоря,
Под голубой теорией моря,
Опущенный на серебристый атлáс
Стиля французских декораций того,
Как его... Люэса Пятнадцатого,
А ноги его принимал как дар-с
Распятый услужливо снежный барс.

38

Его лишний секретарь, Гуров,
Чрезвычайно галантная фигура,
Неизменно в шахматном шарфе
Из красного и серого.
Он очепь любил консервы,
Умел подражать арфе
И не слыхивал выстрела, кроме
Хлопанья пробки в броме.

39

С ордерами на аккредитив
Направляющийся в Главбухию
Оплывал его жирный голос:
«У дзядзи и у тсётси тсиф»,
И, слоняясь то тут, то там,
Для многих приятный (он холост),
Какой-нибудь барышне бухал:
«Гигиппотам или гиппототам?»

40

Он г'ваил: «Ассьте...»
Но Картышев hоворил: «Зыдыравствуйте»,
Но Картышев штормы выстрадал:
В нем три слепых выстрела.
Правофланговый в роте,
Бывший нарком Ойротии,
Он брошен в помы директора
Прямо из треста «Электра».

41

Голос, подобный лаю,
Наган, приросший, подобно хрящу,
У семпадцатом hоде — «Расстреляю»,

В двадцать третьем году: «Сокращу».
И когда свирепеет его дикий ндрав —
Люто хвосты задрав,
Взъерошатся друг против друга в хищь
Рыжие коты его усищ.

42

Последний Н. Н. Маслов,
Зав Пушным Отделом,
Лисичка Бирской волости
Уфимского уезда.
Отец родной всех прасолов,
Всех ундервудных девок —
Распутинские волосы,
Эсеристое тесто.

43

Сегодня все они до измора
У черного бюста Томаса Моора
Без различия номеров лба
Почему-то сидели на бутерброде,
Хоть нотная тень телеграфного столба
Уже перешла за балкончик напротив,
Что означало осенней тьмой
Четыре часа, и фюить домой!

44

Сегодня самая последняя конторка
Была приглашена Полуяровым-директором
На совещание, так сказать, в некотором
Роде ну, что ли... интимное.
И вот появился директор Пушторга.
С руки свисала глубокая, зимняя
Волчья шкура. Притихший зал
Глядел удивленно. Директор сказал:

45

«Товарищи! Перекупщик Ефрем
Продал нам партию этого волка.
Ему заплатили, не думая долго,
Восемь рублей за штуку. Меж тем,
Если бы зверя такого забоя
Мы закупили у зверобоя,
Он стоил бы maximum трешку. Итак,
Мы потеряли на шкуре пятак.

46

Экспортный Отдел, не думая долго,
Продал партию этого волка
В Чехию за двенадцать. Но чех
Подверг ее лондонской сортировке,
Взявши с Лондона по котировке
Ровно в пятнадцать рубликов чек.
Значит, запишем в убыток Пушторгу
Пять плюс три — итого: восьмерку.

47

Так торговала наша Россия.
Так торгуем мы с вами сейчас.
Но этого мало. Ефрем и другие,
Что ловкой сноровкой столь радуют нас,
В своем уваженье Пушторг заверя,
К нему применили повадку отцов:
Сдачу пушнины в обход... образцов.
Возьмите хотя бы этого зверя.

48—49

Кто в зоографии знает толк,
Пусть мне ответит: что это?

Саввич

Волк.

Маслов

И не простой, а дальневосточный.

Картышев

Правильно.

Кроль

Совершенно точно.

Маслов

Таежная масть.

Саввич

А загривок?

Картышев

Ну, да.
Тайга (во имя отца и сына!).

(Крестится. Смех.)

Полуяров

Прошу извинения, господа,
Но вы ошибаетесь: это псина!
Ефрем ей по-волчьи вытянул пасть,
Прорезал в глазницах раскосые щелки
И написал на партии: «ВОЛКИ».
Действительно: гривка, таежная масть,
Но дело в том, что, по воле Зевеса,
Хвосты у псов не имеют «навеса».
Исследуйте шкуру! Ефремья рука
Сдала собаку за бирюка.

(Смех.)

50—51

Не правда ли? Очень веселая сценка.
Я вынужден был написать о ней
В Прагу и Лондон. Через несколько дней
Там состоится переоценка.

Мы потеряем на каждом псе
Девять десятых, если не все.

Маслов

Вопрос: а сами-то англичане
Брак-то заметили?

Полуяров

Нет.

(Молчание.)

Полуяров С.

Однако же, как бы сказать... этим актом
Ты ведь нанес государству ущерб.

Полуяров О.

Да. Нанес. Но подобным фактам
Хода не будет. Советский герб
Должен сиять, как сияет солнце.
К дьяволу грязные барыши!
Мы ведем торг. Нам нужны червонцы.
Но мы ни на йоту не торгаши.

52

Пашка весь рассиялся в улыбке.
Картышев крякнул: «Здорово! Честь!»
Гуров, и внешне и внутренне гибкий,
Лишь норовил поудобнее сесть.
Ольга послала записочку Кролю:
«Съест он, пожалуй, и брата и Колю».
Кроль откровенней ответить не мог:
«Дело ясное: демагог!»

53

Полуяров

«Итак, для чего я просил вас собраться?
Если в дальнейшем, товарищи-братцы,
Любой отдел попадет впросак
И прозевает нечистое дело —

Все убытки так или сяк
Падут на сотрудников этого отдела».
Кроль обомлел. Олечка тоже:
На демагогию непохоже.

54

Больше того: похоже на то,
Что этот зырянин вовсе не шутит,
И ежели что таким начато,
То он их, несчастных, веревочкой скрутит.
Придется, пожалуй, теперь навсегда
Махнуть рукой на беспечную долю...
И Олечка вновь написала Кролю:
«Лучше бы уж демагогия, да?»

Черемушки (Моск. губ.)
II. 1927

ГЛАВА II

Что он Гекубе? Что она ему?

Шекспир

1

Интересы Пушторга как организма
Требовали: параграф А —
Экспорта сиф (то есть прямо на́ берег)
В заморские царства меховых фабрик
(Англия, Америка). Вторая графа:
Закупка непосредственно у зверобоя.
Коротко и ясно. Ясно без боя.
Знай только шкуры гони, зима.

2

Так полагал Онисим Полуяров,
Гроза «ефремов» (пушных нэпачей).
Бывало, везут ему чистое золото:
Соболь-головку! Он спросит: «Чей?»
И если узнает, что груз этот — «желтый»,
Сразу впадает в дикую ярость!
Пусть молит о соболе сам Вашингтон,
Он спекулянта выгонит вон.

3

Он знал, что успех не в вихрях лицензий,
Что русская пушнина при всей своей ценности
Дешевле других, ибо марка ее — нуль,
Поэтому Пушторгу необходимо время
Сработаться с пушными саксами, евреями,

Которых ни разу бы не обманул,
Послав вместо «прима» — четвертый тонкий,
А вместо котика просто котенка.

4

Он знал, что сердце якута, зырянина,
Пушными купцами, как шилом, израненное,
Против России пыжит ежом,
Что нужно доказать (и он докажет — время!),
Что стиль Пушторга не повадка Ефремья,
Республика не живет грабежом,
Но пульса ее охотник касается
Всеми усами битого зайца.

5

Он знал... Но позвольте: Полуяров,
По-лу-яров...
Не тот ли это Ониська, который...
Да, это тот, но, позвольте уж, я:
Отец его был охотник факторий
И за сорок лет не вскинул ружья
Ради одних оглушительных зарев.
Такую же школу зверя прошли с ним
Его сыновья: Северьян и Онисим.

6

Ониська имел цвет волос бусый,
Прицельно глядящие в вас глаза,
На башке шлык из бирючьей морды.
А когда получал из конторы ордер,
В знак торжества, во-первых, вонзал
В волчьи уши по алой бусе,
А затем летом ли или порошей
Снимал пимы́, надевал галоши.

7

Равно велик закон биологии
Под люстрами зала и в черной берлоге.
Но догадается ли кто-нибудь,

Что эти галоши, каждая в пуд,
Играли роль павлинья хвоста,
А посвящалось его обаянье
Русской девушке, чьи уста
Вчера лишь цвели в городке Обояни.

8

Она одевалась в белую шерсть.
Но столько на ней было кофточек, блузок
Розовых, фрезовых, что и не счесть.
Один воротник был низок и узок,
Другой на идейной стоял высоте,
Третий стремился к одной широте —
И в этой пене фрезовой, розовой
Дева казалась полярною розой.

9

Ониська ходил и месяц и год,
Носил ей в штанине черных и бурых
Великолепнейших чернобурок
С различной примесью серебра,
И сопно слушал, как римлянку гот,
Что если он вправду ей друг и брат,
То пусть не ленится: в скорости, да́ст бог,
Он одолеет премудрость азбук.

10

И он ходил и месяц и год,
Пока однажды, веселый, как пыжик,
Стал обучать русачку на лыжах,
И та хохотала до детских икот.
И вдруг ее шею окутал вой,
И лапы облапили, нежнейшие на свете...
О, ежели Онисим не похож на медведя,
То все медведи похожи на него.

11

Но русская женщина — она как песец:
Больно кусается, но драгоценна.
Пушистую негу носит в лице она,

Какой не выпушить даже куницам,
Как мех, который мог бы висеть
Над очагом первобытной души
В пустой до ужаса черной тиши
Полярной вечности. Почуял ли Онисим

12

В этом укусе женских зубов
Свежее дыханье красного зверя
Прекраснее всех, кого чуял и бил,—
Но что-то сдвинулось. Все, что любил,
Казалось ничтожным. Новая эра
Державным наплывом двигалась в бой,
Как айсберг в воде, от тумана оттаянный,
В великолепии блеска и тайны.

13

В эту же ночь Онисим исчез...

14

А когда снова оказал честь
Этим краям своим посещеньем,
Сопровождало светлое эхо
Уполномоченного Главмеха.
Тогда в бюллетене могли вы прочесть
Под шапкой *«Каких работников ценим»*,
Что 3 000 000 пушных товаров
Пригнал инструктор О. Полуяров.

15

Третий сезон уже застает
Онисима в самых дебрях Якутии,
Где по лесам из канабры да в орг,
Между ярмаркою и закутой
Он вяжет узлы, соузлия, узы,

Строит фактории и создаст
Дальнюю базу Центросоюза,
А через год появился Пушторг.

16

Онисим работал с утра до утра,
Вся его жизнь в пушнине да мехе,
Недаром росчерк его пера
Весит больше официоза.
Двуногой стихией (и это не поза)
Со льдами в глазницах и трубкой в зубах
Он понукал столы в своем цехе
Посвистом гона полярных собак.

17

А параллельно в двух МГУ
Вел обширный курс зоологии,
И оживали в его монологе
Хвойный волк или бархатный барс.
Затем студенты почти на бегу
Упоенно неслись по музею Пушторга,
А Полуяров указывал: «Норка» —
Ледянка-секунда
Кряж: Красноярск».

18

Потом на прощанье с приятельской лаской
Одаривал всех закладкой для книг:
Кому бурундук, кому суслик, ласка...
А на лето лучший, другим на зависть,
Входил в Пушторг практикантом. Из них
Кой-кто оставался. Например, Саввич:
Еще не дойдя до простых соболей,
Он получал 60 рублей.

19

Полуяров гремел. Молодой великан
С утесистым лбом и душой океана
Вырос су́дьбищей окаянной

Всему, где храп, тяп-ляп, спесьца,
Так как помимо биографии песца
Он имел диплом инженера Стокгольма,
И мысль его, ледяная и холеная,
Авторитетна и велика.

20

Как Полуяров проник за рубеж,
Так же как о студенчестве в Швеции,
Кроме диплома, не было сведений.
Но римским V меж бровей рубец
Делал для всех вполне вероятной
Вычурность каждого варианта —
Недаром северный этот орел
Имел ломоносовский ореол.

21

Среди пушников Полуяровы часты,
Как белый ворон и черный алмаз:
Само сочетанье — бирючья масть
С бритыми губами европейца и ученого,
Мудрый взгляд зверя ученого,
Молодость, лишенная дедовских традиций,
Наконец, лоб, с которым надобно родиться,
Лоб исключительного счастья.

22

Нужны были полчища и века случек,
Чтобы мутация животного гена
Создала череп звериного гения,
Целое царство нервных звезд,
Вспыхивающих драгоценной коллекцией
Мысли, интуиции, мгновенного рефлекса —
Что же удивительного, что такой случай
Двинул пушторговский рост?!

23

Автор заслуживает упрека
В обилии чужеземных слов,
Но право же, не видит ни малейшего прока
В том, чтобы вечно молиться на Даля
С его «приботать», «натореть» и так далее.
Я тоже курских люблю соловьев,
Но сиднем сидеть во древлянской чаще
Это не подвиг. Это несчастье.

24

Нет, я стою за вы́рыв корне́й,
За помесь французского с нижегородским,
За международность газеты. Во́т с кем
Поэту, который не закоренел,
Держать бы курс на новый язык
Латинизованного разноречья,
Где гибнут «яти», репки да редьки,
Где много каракулей гнутых, косых,

25

Но в этих азах — первый букварь,
Откуда масса идет за культурой:
Протесты против епископа Тура,
Салют товарищу Хосс (Уругвай)
И самый набор: «солидарность», «активность»
Ей ближе, чем лад, полубасенно-дивный,
Хотя бы его подберезное «ква»
Срифмовано было со словом — Москва.

26

Но пока Пушторг приручал северян,
Покуда крепил отношения с Лондоном,
Кроль, его зам, был особенно рьян
В подсчетах дефицита пушторговского дела,
Это Полуярова несколько задело,

«Нужна ли,— подумал он,— внутренняя
фронда нам?
Я ведь объяснял, что, может статься,
Года на два потребуется дотация».

27

Особенно ж бесило Полуярова то,
Что Кроль при нем шу-шу-шу с партийцем,
Давая понять, что подобным лицам
Ох не приходится доверять;
И, посмотрев на часы — не время ль
Ради солидности кончить врать,—
Он вызовет из гаража авто
И сделает ручкой: «Пока! Я в Кремль».

28

Тогда Полуяров, весь налитой,
Но с ослепительнейшей улыбкой
Спускается вниз, надевает пальто
И важно садится в автомобиль,
Вызванный Кролем. И вместо филиппики,
Пустив в изумленного зама пыль,
Он крикнет шоферу, кусая губы:
«На заседание в Цекубу!»

29

Что он Цекубе, что она ему?
Должно быть, не больше, чем Кролю Кремль.
Но этого «выкуси» вычурный крендель
Обоим стоил немало мук.
Недаром пущена с жилы тугой
Армянская загадка: «Шьто такой
Четыре колесам и многам крови?»
Ответ: авто Полуярова — Кроля.

30

Но Кроль не унывал. Он поставил стол
Невыполнений анкет Наркомторга,
Куда входили также диаграммы для СТО [1],

[1] СТО — Совет Труда и Обороны.

Статистические карты РКИ и Госплана.
Так раскуривалось серное пламя,
И когда Полуяров был достаточно издерган,
Не желая эксцессов, он взял мандат
Объезда факторий осенних дат.

31

Фактории эти были ерундой:
Самая что ни на есть русская Россия;
Но тем не менее пушной профессор,
Готовясь к отъезду, был явно весел —
Он продувал, свистя из России,
Автоматическое рондо
И перечистил свежей «Вечеркой»
Два чемодана — желтый и черный.

32

Черный до зеркала чемодан
В лапках, никелирующих вещи, —
Был на семи винтах, чему дан
Капризный рисунок полярных созвездий;
Ручка из черной мясистой кожи,
С эфесом траурной шпаги схожей,
А в рамке под желатинной слюдой
Имя, фамилия, улица, дом.

33

Чемодан желтый стар, как альбом
Домашних открыток, и многое видел.
Был он в непрезентабельном виде.
В каменном пламени сургучей,
С вялыми языками, с пальбой
Старческой челюсти. Жухлый и дробный...
Внутри же была в нем одна подробность:
Плакат «Хлородонта» с улыбкой! (Зачем?)

34

И Кроль наконец остался один.
Кроль. Но какая цена ему?
Он в книжке числился служащим по найму.
Кто ж его нанял? Что он умел?
Дважды два — и ничего в уме;
Дважды два, говорю я, не более.
У гения тромб — у него эмболия;
Товарищи! Кто бишь его посадил?

35

Кроль. Он слышал множество спичей.
Но вот его ценность — довольно мило:
Жира — нá семь копеек мыла,
Железа — на гвоздик, тупой с обеих,
Фосфора нá три коробки спичек,
Калия с выстрел (да и он плох),
Серы — против десятка блох.

Всего же в итоге на сорок копеек.

36

Сорок копеек. Цена prix-file,
Этот ярлык торчит в его кресле.
Но это же боль, ну поймите — боль же,
Что он выступает от нас, как фиск,
Что он фигура, что он похлыще
Выкуренного директора треста —
Сорок копеек. Алло, вы слышите?
Сорок копеек! Кто больше!

37

Существует три сорта дураков. Один
Наглядно показательный. Никак не упятится.
Спросишь: «Сегодня что? Четверг?»
«Да,— ответит,— а завтра будет пятница».

Сорт второй — дурак-фейерверк.
Этот кое-кого убедит:
Луну и рифму «примется — принца»
Он объяснит из единого принципа.

38

Все для него давно решено.
Цитируя Бедного или Шено,
Сей экземпляр эффектно упрется,
Ораторствуя по любому вопросу,
И будьте уверены — останется тверд.
Дурак этот обычно тирасполец или уманец,
Такого дурака именуют умницей,
А те, кто именует, и есть третий сорт.

39

Полноты ради о четвертом сорте:
Он мыслит и, мысля, бунтует с пристанью:
«Да, я дурак, но я познал истину:
Истина есть то, что я — дурак.

Отсюда баллада силлогизма: ура!
Кай не дурак, ибо познал
Истину, что Кай — дурак». О четвертый,
Ты буря и бодрость! Ты знамя и знак!

40

(Почтовый ящик. Эн Эну из Ломжи:
№ 4 остается дураком же.)
Кроль относился к второй категории:
Дурак с интонацией хитреца-с.
При этом любого он мог объегорить,
Отнюдь не неся несусветной дичи.
Он был, например, до того дипломатичен,
Что нельзя было добиться, который час,

41

Я думаю, далее никто бы не ошибся,
Сказав, что он сведущ и ходит в театр.
Он знал, например, афоризм Ибсена:
«Не жертвуй честью ни дружбе, ни любви»,
Он знал, что до Гоголя сотворен «Вий»,
Что нитрогениум значит азот,
Что в Дании на четырех один кооператор,
Тогда как в России на 7500,

42

Что озимь видать уже на Илью,
Что Илья приходится на июль,
Что от слова «добить» произошло — «добыча»,
У Пушкина в зубе была дыра,
Против глистов помогает клизма,
Карл Маркс основатель марксизма —
Короче говоря, невредный обычай
Читать перед сном листки календаря.

43

В Главрыбе, куда он имел державить,
Его, не имеющего направленья,
Ориентировали сюда
Щука под хреном и по-польски судак.
Но — он нашел постановку ржавой,
Кроме того, не попал в правленье
И кое-кому на предмет науки
Преподнесен был хреновинной щукой.

44

Но член правленья в Текстильсиндикате
Оказался шурином Сашиной Кати —
И вот у Кроля бюро у окна,
Затем посредине, затем в кабинете,
Потом стал ездить: по Таврии, Сванетии,
Грузии, Армении вплоть до границы.
А проездив тысячу верст сукна,
Почему-то не смог укорениться.

45

Но в Пушторге, где был председателем Мэк
(Который хорош с Александрой Ивановной),
Кроль решил подучиться наново
И ознакомиться с мехом зверей:
Ручей черноты серебром, как свирель,
Играет и прыщет в россыпи, во сто,
Как Млечный Путь зарываясь в мех,
В ресницы хребта, в мохнатые звезды.

46

Вторая шкура над упаковкой
Пышно висела лебяжьей пуховкой,
И, вся голубея, шла, как поток,
Пернатая, страусовая, как пена;
Под ней, оползая с тюка постепенно,
Цветок распустился и лег под пятой —
Тропической астрой рыжих огней
Третья пушнина лежала под ней.

47

Кроль разбирал их: белая — песец,
Черная, та, что серебром лоснится,
Должно быть, пантера, а третья — рысь...
Оказывается — все лисицы.
«Ах, так! — сказал Кроль.— В таком случае
брысь».
Он решил довольствоваться азбукой стандарта.
Кстати, в кабинете висела карта
С наглядными рисунками для пушных бесед.

48

Кроль добросовестно приобрел курс
Брема, Коотса, даже Полуярова.
Сперва ничего. Страницы через две
Узнал, что Ursus значит «медведь»,

Тут-то он понял прозвище — Урс —
Картышева, этого ражего и ярого,
Который в «гражданку» питался макухой,
Но и тогда уже слыл мишухой.

49

Но дальше — о, боже: раздел ЛИСА —
Меланизм, хромизм, альбинизм, а там
Законы Менделя и прочее и прочье.
Как в микроскоп гиппопотам,
Глядит на все это Кроль. Короче:
В памяти нет уж того колеса,
Не тот, увы, не тот уже возраст,
Чтобы зубрить, как студиозус.

50

Итак, ничего. Ни с теорией твари,
Ни с практикой на готовом товаре.
Но что ж в итоге? Да пара замашек —
О своей шубе услыщите вы:
«Помесь бобра с собакой, но увы —
Вся, к сожаленью, в свою мамашу».
Неистребимость, о, что ты? кто ты?
Кроль перешел на пушные анекдоты.

51

Блеф Семеныч, я умею ненавидеть!
Я лелею свою ненависть к вам, как любовь;
Она в лунный масштаб ваш клопиный бой
Увеликанивает, как рефрактор.
Вам очень нравится фрак? Тррр...
Карты? Тссс. Вы точно священник.
Кроль, вы нуль. Но Овидий
Думал о ваших превращеньях.

52

Кроль, ты нуль. Но везде декаданс твой;
В поэзии Уткин [1], в тресте их дюжины,
До горизонта ширяет окружность —
Пока ты под маской. Ну то же — строй
С детства знакомый, уютный строй
Фальши, протекционизма и чванства,
Чтобы, коснея с этих позиций,
Все остальное ты звал оппозицией.

53

Кроль, я знаю — ты стар, ты устал,
Ты человек, как я, как Онисим,
И все ж я ветрами реву в рупора:
КРОЛЬ ИЛИ КОММУНИЗМ!
Но нет. Опираясь на № и стаж,
Он, зевнув, разотрет, собираясь на пленум,
Выхаркнутую кровь пера
С этим лирическим наступленьем.

54

О мой рефрактор! Твоя слюда
В окиси крови моей и желчи,
И воет голос мой, голос волчий,
Свое одиночество на луну.
Но даже луна — идеальный нуль,
Под нею сжились тихомирные овцы —
А я с непосильными бивнями совести
Вымру, как мамонт со льда.

Коктебель
V. 1927

---

[1] «Счастлив я и беззаботен.
Но и счастье и покой
Я, ей-богу, заработал
Этой раненой рукой».

Так совершает путь великий
Выше всех домашних птах
Сей Языков безъязыкий,
Заработавший пятак.

ГЛАВА III

Боб Соути, ты поэт, венком лавровым
Увенчанный, и меж поэтов туз.

Байрон

1

Маяковский! Вы увенчанный лаврами
Мэтр и меж поэтов туз!
Как-то за вами я поплетусь
В яром деле торговой рекламы?
Имеется фирма не наших зон.
Чем же поднять о ней шум и звон?
Волоколамскими колоколами?
Троице-Невскими лаврами?

2

«Спою франкорусское»
«Франкорюсс»-ка я
(Телефонище 40-10),
Которого
Конторы —
«вво»!
В Париже,
Царьграде,
Одессе,
Муза,
лиры
восхищия
лей!
Бей
в равнодушия
панцирь:

Основной
капиталишка
— десять
нулей;
Девиз;
«Никаких
испанцев».

3

Но мне воспеванье не по плечу.
Не трубадур я в лавровых листьях.
Я проблематик. Я аналитик.
Это невесело. Но хочу
Жить в горячих сердцах, а не в бронзе.
Быть реалистом по мере сил.
Вот почему, избирая стиль,
Почесть воздам я серенькой прозе:

4

«Французская концессия
«ФРАНКОРЮСС».
(Телефон директора: 40-10.)
Меха и пушнина. Конторы: в Одессе,
Во Франции, Турции, Пруссии.
Учреждениям, сдавшим тысячу штук,
Причитается пятипроцентная премия.
Спешите. Товарная недвижимость — бремя.
С почтением Джошуа Кук».

5

Джошуа Кук помещался за дверью
С черной табличкой: «Джошуа Кук».
Только лицо, заслужившее доверия,
В данном случае господин Поль,
Могло вступить на суконный пол
Его кабинета. Глухая портьера
Малейший звук поглощала вокруг.
(Внутри же чудился звон шпор Тьера... [1])

[1] Тьер — душитель Парижской коммуны.

6

Над дверью аншлаг: «Милостивый государь.
Время — деньги. Я очень занят.
Поэтому, предрассудки отбросив,
Заране отвечу на ряд вопросов:
Здравствуйте!—Здравствуйте, садитесь сюда.
Как здоровье? — Вполне окрепло.
Мерзкая погода.— Да, наказанье.
Чудная погода.— Великолепно».

7

Рыжий костюм его в черных квадратах,
Сидящих один над другим, как окна,
Напоминал (простите за троп)
В сто пятьдесят этажей небоскреб.
На высоте ста восьми этажей
Имелся балкон для сигар и монокля,
Где всеми цветами лаковых радуг
Играла армия карандашей.

8

Графологический этюд о подписи: «Кук»
Намечает в характере четкую линию:
«Крайне расчетлив и предприимчив,
Быстр и решителен. Его принцип —
Бей в лоб. Томлениям скук,
Русской хандре, английскому сплину,
Любви и поэзии не подвержен.
С женою корректен. С друзьями сдержан».

9

Таков Кук. Немного поодаль
Стоял с глазами омытого гравия,
Как негатив его фотографии,
Оперативный техник — Поль.
Вот он сощурил овальный аспид,

Двинул систему жевательных групп
И стал разжимать заплавленность губ,
После чего следует надпись:

10

(Даю в переводе.) «Мистер Кук.
Я заявляю, как Ваш агент,
Что мы без охотничьего аппарата
И собственной дóбычи — вылетим в пух.
Но Вы — буржуа. По законам страны,
Чтоб Ваше соперничество устранить,
Лишь государство и кооперация
Вправе иметь конторы в тайге.

11

Я предложил бы купить Пушторг
Под видом кредита. Их аппаратом
Ведя с самоедами всякими торг,
Мы открываем дорогу парадам
Нашей фирмы на Западе. Мы
В течение следующей зимы
Сделаем, мистер, тихо и чинно
Красный Пушторг своею личиной.

12

Однако пока Полуяров (Онисим)
Держит в руках путеводную нить,
Нашей идеи не осуществить.
Но всякого шефа ненавидит заместитель.
Дайте Кролю какой-нибудь титул
(Именно! Это не анекдот!) —
И Кроль каким-нибудь ходом лисьим
Полуярова обойдет».

13

Оранжевый джемпр, еж на вершине,
Красный ботинок, обшитый шиной,—
В год работы Поль захватил

Во «Франкорюссе» и фронт и тыл.
Он ярко распоряжается почтой,
Беседует с клерком едва-едва;
Ему нет
Тридцати трех лет, оттого что
Было двадцать два.

14

Кук не копался в его убежденьях,
Хоть Поль и польский сосиалист:
Деньги — вот страховой полис,
Нет потребности выше денег.
Правда, бывает и звон монет
Лишь нотой в меланхолической гамме,
Но значит, не так хорошо с деньгами.
Как плохо, когда их нет.

15

Деньги. С ними приятно свыкаться,
Поль имел двухместный мотор-с,
Облитый изящным смокингом торс,
В Италии проводил вакации,
Хранил календарь Женевьев и Алис,
Но им цветов не носили на сцену.
Деньги. Поль понимал им цену:
Поль был польский сосиалист.

16

Он молчалив, не так ли? Меж тем
В интимном кружке он давал сеансы
Речи на девять различных тем.
Ну, предположим — соната Сен-Санса,
Омоложение, печенег,
Петр Первый, первый снег,
Девственность, телеграмма «Известий»,
Олеум рицини и цифра 200.

17

И, вот с ораторским жестом вождей
Отпив из единственного убежища,
Он виртуозно средь этих вещей
Вертелся с изяществом конькобежца.
И тот, кто любил и умел свистать
Истине обнаженного нерва,
Мог оценить высокую стать
Тактики обходного маневра.

18

И Поль диктовал:
«ПУШТОРГ (МОСКВА)
Его Превосходительству Л. С. Кролю.

Сэр!

Предлагаем войти к Вам в долю.
Можем внести миллиона два.
Но так как шеф игнорирует Францию,
Мы обращаемся к ВАМ... с гарантией,
Полной выгоды наших услуг.
Прим. и проч.
«Франкорюсс».

Кук».

19

К деревянной сторожке, где в окне барбарис,
Каждую ночь приходила рысь.
Каждую ночь запирали дверь.
Однажды не заперли. Душной порою.
Серою тенью на черном пороге
В зеленых огнях появляется зверь.
А ребятенок, увидя рысь,
Сполз и лепечет: «Кисенька, кись...»

Детское Село
X. 1927

ГЛАВА IV

Сидит себе жаба
У дуба да граба
В перчатках рыжих,
В заморских брыжжах.
До чего дошла!
До чего тошна...
Ржавая ржавчина,
Сидит бородавщина
На зонтиках —
Перепонтиках.
— Ква! — говорит.— Ква-ква!
Слякоть-то какова!
Удовольствие...

«Осень»

1

Семь часов вечера. В детской кроватке
С голубой сеткой и никелем шаров,
В березовом запахе каркающих дров
Посапывает Лев Семеныч.
Строго говоря, ему пора одеваться,
Но комнатный градусник показывает: «20»,
Но тени уютно играют в прятки,
И навевает сон ночь.

2

Комната сжигает багровую тьму,
Тонущую в оранжевой байке.
Часы, зевая, вызванивают восемь.
Каркают березы. Мокрая осень.
Тихо. С картины смотрит отец твой,

И выплывает милое детство,
И даже казалось, что это ему
За дверью пелась колыбельная байка [1].

3

Женский голос, немного глухой,
Точно басок старинной гитары,
Уныло тянул тара́ра-тата́ра...
Это она, Саша. Лихой
Крылатый набросок французской стрижки,
Не то бронзоватой, скорее рыженькой;
Не по лицу — глазища вразлет
И черною червой рот.

4

Я очень люблю набрасывать женщин,
Ласкать небрежным карандашом
Их плечи, окатанные, как жемчуг,
В лисицах с дымчатою душой,
Особенно среди катастроф
Ожесточеннейшего романа,
Где проволока, где дым и ямы...
И вдруг — виньетки. В несколько строф.

5

И вдруг в стороне на писчих полях,
Лежащих, как снег, по краям дороги,
Очерчен какой-нибудь месяц двурогий
Или кружок с ушами — беляк;
Тот же кружок, но с сиянием — ежик;

---

[1] Спи, зайчонок,
Заинька,
Зверушонок
Маленький —
У такая
Зюзика
Серенькая
Пузика.

Заа кочки,
Под сугроб
Лапо-тапо-точки
Топ-топ-топ.
Шухи-шухи
Перешухи
Каплоухень-
Кие ухи.

Через речку
Мостик —
Там пуховый
Хвостик.
Саам зайка
Егоза
Удивленна —
— и глаза.

То же сиянье на палке — ель;
Галки как брови; N. N. и К. Л.
И росчерки, росчерки, росчерки ножек.

6

О, эти ножки, елочки, галки,
О, эти женские имена,
Магическим бормотаньем гадалки
Порой одурманивающие меня.
Они вползают, как мятный туман,
Они ложатся, как тонкие тени,
Язык утомленных полусновидений,
И полудремная вязь ума.

7

Но все ж я резинкою не сотру
Их кочевой, их неясный очерк:
С годами суше, склерозней, короче,
Как дом, осядет этот труд —
Иные страсти в веках запылят,
И мы от своих времян и временщин
Оставим, быть может, только поля
Неясных рисунков лисиц и женщин.

8

Не потому ль иногда стихи,
Враждебные моей мысли и школе,
Навязываются из темных околиц
Растительной волей моих стихий —
И я принимаюсь карандашом
Набрасывать нежные линии женщин,
Их плечи, покатые, точно жемчуг,
В лисицах с дымчатою душой...

9

Итак, Саша, сынка укачав,
В спокойной столовой на папином кресле
Пела одно и то же подряд,

А мысли, как свет, переносицу резали.
Сын уже спал. Она пела зря,
Но пела и, лежа на утлой козетке,
Бледнея, слушала мужний чавк,
Прикрывши лицо газеткой.

10

Холеная, под анонсом «Заза»,
С ногтями, играющими, как глаза,
Она вся объята, окружена
Женственностью, точно пена шумом.
Но что волновало ее кружева?
Каким предавалась таинственным думам?
Чьим голосам внимала Тамара
В яростной арии самовара?

11

На эти вопросы, любезный друг,
Не взялся б ответить и сам супруг,
Хоть он и имел в этом нежном теле
Сто процентов заявки.
Но дайте срок,— не сегодня, завтра,
Даю вам честное слово автора,
Как-нибудь в ундервудном отделе
Получим точные справки.

12

А пока обратим вниманье на муху.
Муха была чеховская — средней руки.
Но покуда она в самоварном гаме,
Законам Ньютона вопреки,
Ходила над нами
Вверх ногами,
Пунктируя части
Лепного овала —
Была она просто человек свой.

Но когда эта муха
Пронеслась мимо уха
Уважаемого Льва Семеныча Кроля —
Оказалось, что ее звон
Был той щепоткой соли,
Которой недоставало
Для ощущенья счастья.

14

Нет, как хотите, его жизнь увенчана!
Он обладает роскошной женщиной,
Оклад, положение, власть.
И это государству абсолютно недорого,
Раз он душа и сердце Пушторга,
Не то что какой-нибудь дядя Влас
Из этих, из широкоплечих,
Вроде Картышева, партбилетчик.

15

Кроль вскочил с выраженьем рта:
«А Полуяров — пешка?
Сейчас на исходе четвертый квартал,
Сейчас у охотника нет зверья,
Но я их сгоню, о, поверь — я
Покажу им, что значит спешно.
Либо я золото, а не медь,
Либо при нем мне онеметь».

16

На письменном столе привычный пейзаж:
В пепельнице волосы (довольно давнишние),
Косточки глазированной вишни
В маленьком сигарном ящике,
Девичий профиль с локоном на́ щеке,
Небрежно подписанный «Саш»,
Причем у бордюра за полем фона
В два почерка номера телефона.

17

Здесь, вытащив из покрывала
Серебряный бювар, где гусиное перо
И росчерки служащих по случаю конца Чеки—
Кроль работал. Шепелявило перо,
Сверчок за обоями тикал, как часики,
Но урчание жилета покрывало,
Философичное, как контрабас,
Оно было символом прочности баз.

18

Интересы Пушторга прежде всего
Требовали постановки здоровой.
К чему сводилось ее существо?
Скупка меха у зверолова
В обход вторых и третьих рук,
Затем сортаж по мировой мерке,
Принятой стандартом Англии, Америки,
Скупающих по образцам на круг.

19

Но вместо этого Кроль на гибель
Рвал мех, где бы он ни был:
У Центросоюза ли, у нэпача ль,
Реализуя мгновенно товары.
Чехии, Румынии, Дании, Баварии —
Пускай сортируют — не наша печаль.
От этого цифры звучали ярко,
Но падали цены, падала марка.

20

В ночные деревья ложатся огни зама,
Кроль готовит карьеру впрок.
Урчит жилет. Шепелявит перо.
И только яйцо с надрезанным луком
Ждут приобщиться к торжественным звукам.

Но Кроль не жует. Его зубы рипят,
И вместе со скрипом пера скрипят
Цели пушторговского организма.

21

Первой в папке шла телеграмма:
«Приехал Курск Полуяров».
Кроль
Обмакнул перо в ядовитую кровь
И черкнул поперек: «Очень приятно».
За ней появился под почтой спрятанный
Доклад с облинованной рамой,
Написанный каллиграфической вязью,
Имевший в продырьях бант с перевязью.

22

По данным экспедиции ген.-губ. Унтерберга,
Котиковый промысел, в сущности юный,
Упал в течение десяти лет.
Русские, канадские, японские шкуны
Хищническим образом рыскали у берега —
И гибли кот, матка, телец.
Добычу пиратов (подсчеты Дании)
Ярко иллюстрируют следующие данные:

Года	Суда	Приматных самцов, маток, тельцов
1906	29	10 176
1907	33	10 420
1908	31	13 355
1909	35	10 465
1910	35	12 295
1911	33	11 816
1912	35	13 112

23

Но в 1911 году
Была заключена Вашингтонская конвенция,
Каковой конвенции буква и дух —
Охрана котиков на Тихом океане.

Согласно следующих изысканий
Стадо прибыловых иждивенцев,
Упавшее до ста тысяч хвостов,
Теперь представляет (профессор Хвостов):

Классификация	На островах	
	Св. Павла	Бонифация
Детеныши	172 528	35 868
Матки	172 528	35 868
Секачи	3127	889
Холостячки	375	15
Матки годовые	55 043	9197
Секачи охочие	73 484	9429
—»— неплодовые . . .	75 055	10 851
Прочие	45 800	9624
	587 939	109 219

24

Но так как Британская Колумбия (Виктория),
Которая лишилась промыслов, но которая,
Имея богатый торговый рейд,
Предполагает из конвенции выйти —
В отношенье котика возможный вред
Чреват весьма чрезвычайностью событий.
Необходимы крайние меры.
Я полагал бы, по крайней мере...»

25

Кроль не дочитал. Манера письма,
Какой отличался Северьян Кондратьич,
Со всеми этими «чреват» и «весьма»,
Со всей этой ученостью не просто,
а в квадрате,

Его дико бесила. Он образованных
Жадно ненавидел, как отставленный любовник,
За мужа получивший дежурные рога,
И он написал на диссертации врага:

26

«Болтология. Я не Наркоминдел.
Прошу обратиться до текущих дел»,
И, представив, как бледнеет этот старый
костыль
И как скажет Гуров: «Это чшерти, а не людзи»,
Он полюбовался на едкий стиль
И депешный язык своих резолюций:
Вежливость, властность, усмешка всерьез —
В малом мнóгое. В точке все-с.

27

Телефонная дробь. «Я слушаю. Да.
Соболь-головка? Какого района?
О! Баргузинский? Это корона.
Частник? У частных лиц не берем.
Как? А вы назовитесь Мехпром —
Артель зверобоев. Что? Ерунда.
Внесите паи, пригласите юриста,
Аванс мы дадим. Сколько соболя? Триста?»

28

Положил трубку. Горячий вар
Прошел по затылку, окатил уши...
Глупости! Что я такое разрушил?
Ведь не терять же красный товар.
Не я куплю — закупят другие.
Торговля, товарищи, это стихия!
Это... Но тут, излучая «букет»,
Надушенный шипром сверкнул пакет!

29

«Срочно.
Секретно.

ПУШТОРГ (МОСКВА)

Его Превосходительству Л. С. Кролю.

Сэр!
Предлагаем войти к Вам в долю.
Можем внести миллиона два.
Но так как шеф игнорирует Францию,
Мы обращаемся к ВАМ (!) — с гарантией,
Полной выгоды наших услуг.
Прим. и проч.
«Франкорюсс».

Кук».

30

Ура! За это как раз и боролись:
Он извиняется: факт налицо —
Иностранцы пишут свое письмецо
Не Полуярову, а прямо Кролю-с.
Ха! Эрудиция! Но что ерундиция
В сравнении с фактом иностранного кредита?
Да-да, Полуяров: «КРОЛЬ ЭТО КРОЛЬ!»
Таков мой лозунг и мой пароль.

31

«Сэр» они пишут. А? «Сэр»...
«Превосходительство»... Да ведь он сер!
Кто был несчастнее бедного Сеньки?
И вдруг! И к тому же огромные деньги.
Он явится к Мэку. Именно он!
«А не угодно ли вам миллион?»
Хо-хо, Ониська! Постой... Погоди...
Война с тобою еще впереди.

32

Следующим номером шел бюллетень:
«Лондон [1]. Осенний аукцион. Утро:
Усиленный спрос на куницу. День:
Оживление сделки с белкою. Кстати,
Снижен спрос на меха имитаций
Кролика, выхухоля, выдры и нутрии.
Причины неизвестны, но полагать надо —
В связи с уходом из конвенции Канады».

33

«Вена [2]. Слабость меховой индустрии
И обанкротившийся концерн
Текущий момент вполне обострили.
Держатели партии русских лис,
По слухам, с Великобританией снеслись,
Надеясь выступить в самом конце.
Здесь не сомневаются: при таком темпе
Лисицу скупят Хут или Дэмпей».

---

[1] ЛОНДОН

По будням в небе деловая серь.
По воскресеньям небеса лазурны.
Хохочут чайки. А под ними урны —
И каждая — британский офицер,
И каждая солидна, как парламент.

[2] ВЕНА

Старомодная столица
Кружевных особняков,
Пены, взбитой из Галиции,
Словаков, босняков;
Он ценный и ничей,
Город хищников валюты,
Ресторанных революций,
Проволочных скрипачей,
Город — символ на поре
Спекулянтского изыска,
Интернацьонал Пьеретт,
Город венских оперетт
Грезит венскою сосиской.

34

«Лейпциг [1]. Съезжаются от Мальмэ и до Ниццы.
Ярмарка работает в восемь касс.
Крупное количество русской куницы,
Представленное Чехией, грозило депрессией,
Но, как сообщается французскою прессой,
Правительство подкуплено — и новый указ
(Неопубликованный) явно клонится
К полной невозможности ввоза куницы».

35

Кроль засмеялся (ему стало жутко):
Все они бьют в один барабан.
Может быть, вправду пушные ангелы
Витают лишь над Америкой и Англией?
Но в комнате мягко дышала Сашутка,
Но лики зырянина в думах летели —
И он написал поперек бюллетеня:
«Яри гатунь — яри бань!» [2]

36

Затем распечатал письмо из Парижа: [3]
«Модели Конфексион-де-Мод
Обещают сделать текущий год
Голубым песцом, муфлоном и белкой.

---

[1] ЛЕЙПЦИГ

На древних вывесках готический закал
Картинных галерей: «Меха», «Какао», «Гильза»...
И золотых цехов и ювелирных гильдий
За шпицем ратуши еще дымит закат.

[2] Какая-то молдаванская пословица, которой никто не понимал.

[3] ПАРИЖ

Анакреона пенных чаш
Выхоленная цитата —
Париж, каскадами пернатый,
Роями пузырьков мечась,
Бьет электрические вина
Морозов Мумма леденей,

Популярен испанский воротник «гаррот»,
Особенно же с гарнитуром отделки
И пуговицею. К зиме поближе
Гвоздем сезона явится крот.

37

Имеется шанс у суслика. Он
Появился в салоне мадам де Гаскон;
Прочное будущее также у каракуля».

Кроль развернулся в небрежных каракулях:
«Ладно, ладно, детки,
Дайте только срок —
Будет вам и белка,
Будет и свисток».

38

Полуграмотный зав, потрясаемый докладами,
Где вместо «юг» обязательно «зюд»,
Кроль ощущал раздражающий зуд.
В противовес всей этой науке
Блеснуть и своим багажом — дескать, ну-ка.
И он расфуфырит индюшечью спесь —
Недаром положен высокий оклад ему.
Он и неученый повыше, чем спец;

39

Из месяца в месяц, и́з года в год
Он проникался к себе уваженьем,
Он наслаждался каждым движеньем

Шипучей россыпью огней
В бокале выпуклой витрины,
В любом бокале, где — оп-ля! —
На дне, жужжа стеклом и пеной,
Танцуют женские колена,
Вмонтированные в крупный план
Физиономии Верлена.

Своего росчерка; голосом од,
Переходящим изредка в трель;
Губой, заставляющей вспомнить о верблюдах;
А на резолюции свои смотрел,
Как на анекдоты о великих людях.

40

Он стал язычником слова *«Отдел»*,
На его гербе был бы номер на штампе.
В зеленом покое казенной лампы
Он позабыл о фригийской заре.
А кстати — в холодном утре созрев,
На ветке березы каркала осень,
И с величественным ликом усопшего в бозе
Кроль закрыл свою папку дел.

41

Но осталось маленькое письмишко
На четвертушке почтового типа,
И Кроль, почесавши ногу ногой,
Раскрыл его, от зевоты всхлипнув.
Какой-то Саввич. Кто он такой?
Ах да, как его — этот мальчишка,
Кажется, агент подотдела товаров,
Которого как-то устроил Полуяров.

42—43

Агент писал: «Члену Правления

вузовца Саввича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Будучи студентом 2-го МГУ,
Где мною пройден курс зоографии,
Но занимая должность статистика,
В которой при всем желанье могу
В лучшем случае просто и чистенько
Лить цифирь и линовать графики,—

Прошу или вовсе меня устранить,
Или дать возможность работы активной,
Хотя не усиливающей актив, но
Достойной хотя бы тысяч страниц
И сотен рублей моей общей учебы,
Чтобы я мог возвратить их и чтобы
Выбрать в жизни личный удел.

П. Саввич.
Пушной отдел».

44

Кроль взорвался: «Приказ № 1-й.
Мною замечено несколько лиц,
Кои усвоили себе нахальство
Сноситься с правленьем помимо начальства
Предупреждаю: подобные люди,
Кои желают, чтоб ток был прерван,
Будут увольняться без дальних прелюдий.
Пролетариат еще имеет хлыст!»

45

Наконец уважаемый Зам. Дир. Трест
Потянулся и встал. Из зеркального шкапа,
Ища себя в окулярных мирах,
Гляделся комнатный полумрак,
Будильник томительно капал.
И был подозрителен пальцев треск,
И желчные листья, полные яда,
Нагло летели в окно без доклада.

46

Осень. Вам уже сорок лет.
Изморозь на висках, а не верится.
Давно ль это вы — червонный валет,
В головах и ногах — женское сердце...
А ныне — траурной масти король,

Да и король ли? Не долго ли оземь?
И смотрит и смотрит в зеркало Кроль,
Как за спиною желтеет осень...

47

А молодость лучше? Что она? Где?
Не было молодости! Голодовка
Пухлая, белая, страстная, долгая;
Страх пред начальством; сотни идей,
Как дослужиться до копииста;
Харкнут в душу — без хныка и писка,
С профессиональной улыбкой во рту
Свое омертвение рапортуй.

48

Ну что ж? Да здравствуют сорок лет,
Коли уж молодость нас не холит!
Ей он оставит любовь и голод,
Себе же одно: урчащий жилет,
Который, кстати, гнусавит о том,
Что вот, мол, уже наступило завтра,
И следовательно,— пожалуйте завтракать.
Так устроен кролевский дом.

49

В столовой за кофе, потерев бок
И вяло подумав, что Саша красавица,
Кроль рассказал о некоем Саввиче.
Жена с горностаем на матинэ̀,
Держа на коленях кустарный грибок,
Штопала молча дыру на пятке,
И шелковинка в квадратном порядке
Ложилась на черное синью теней.

50

«Я думаю,— сказала она,— что студент
По-своему прав».— «Скажжите пожалуйста:
Одна слеза про несчастный удел —

И ты уже готова растаять от жалости.
Что там республика ей, что казна ей?
Но я человек государственный. Вот.
Самый лучший служащий тот,
Про которого директор ничего не знает».

51

Саша спросила: «А член правленья?»
Кроль растерялся и сразу притих.
(Он забыл посмотреть резолюцию.) С ленью,
Свойственной движеньям, убежденным
в успехе,
Саша пошла, изгибаясь в мехе,
И, возвратившись, сказала: — Хих.
Он пишет — «Прошу объяснить. Неужели
Вузом у нас затыкают щели?»

52

Серая ворона села на сук.
У серой вороны голос сух.
Ее специальность орать на плакате
Яичного цвета с черной каймой.
Но серая ворона слетала домой
Осенним карком в окна поплакати,
И на суку золотилось едва:
«Карандаш Фабера № 2».

Коктебель
V. 1927

ГЛАВА V

Кипучая (Баратынский, Плещеев),
Певучая (Блок),
Нежная (Фофанов),
Пьяная (Бальмонт),
Мятежная (Лермонтов, Некрасов),
Туманная (Кольцов, Фет),
Златая (Пушкин).
Золотая (Белый, Надсон, Омулевский, Фруг).

(Об Осени)

1

Осень. Афиши в дожде и без оного;
«Вечерка» объявила, что грачи улетели;
Город, вмонтированный в «лес»,—
обнажился;
Съехались дачники — поля опустели.
Только одна — Ниночка Бессонова,
Стрижик-рыжик, прелестный парень,
Да юноша, долговязый и жилистый,
Шлялись по дачам умильной парой.

2

Пока они бегали средь воронья,
В Пушторге уже поднялась возня:
За Пашкой срочно прислали курьера
И вызвали к Полуярову. Тот
Сказал, что дело ему найдет.
Взять хоть суслика для примера.
Знаете ль вы о суслике? Нет?
Меж тем это очень солидный предмет.

3

Суслик. Подумайте: что за картина!
Императрица Екатерина
В поход на него посылала войска.
В степях бунчуки развевались, как чубы...
Против сусличьего свистка
Гремели вовсю барабаны и трубы —
Желтый улан и гусар голубой
Пятнистых суслят вызывали на бой.

4

Крича о вредительстве суслика хором,
Наши дни его травят хлором.
И все это, несмотря на то
Что после войны в обедневшей Европе
Из меха суслика шьют манто.
Соображаете? Время торопит!
Надо в Пушторге на этом пути
Секцию суслика завести.

5

Итак, мой Пашка не попросту служащий:
Он — завсуслика. (Пост еще нов.)
У него на затылке «Парижский шик»,
А галстук,— ого! — голова закружится.
Однако эти буржуазные инстинкты,
Свойственные слою элегантных прожиг,
Встречают оппозицию в лице штанов,
Имея классовым врагом ботинки.

6

О, эти ботинки! Никакой крокодил
Никогда не скалился до такой степени.
И покуда Саввич по листьям бродил,
Уверяя, что все они кисти Репина
(Осень была петербургская, мокрая),

Башмак нагрузился водою дó края,
И только Пашка легонько охрип —
Взял его об руку мистер Грипп.

7

Но мы не станем томиться о Саввиче:
Гибель юных в плену у жизни.
Кроме того, не дальше как давеча
Пашка у Ниночки встал на учет,
Сдал по «органике» первый зачет
И сделал в ячейке доклад о фашизме.
А самое главное, самое глав —
Он теперь сам с усам. Хав-ляв [1].

8

Поймем ли мы Пашку? Ему двадцать лет,
Юнландия! Край великой мечты,
Надежды, подвига и маеты,
Против которой не сыщешь лекарства;
Великолепное государство,
С балансом, активней которого нет,
Где ввоз — пессимизм, чернила, бутсы,
А вывоз: Любовь и Революция.

9

О юность моя! Я заглох, зачах,
Я рвусь, я тянусь к тебе неукротимо,
Но ты затонула в татарских ночах,
В маринах густых золотистого Крыма,
В рóндо таврического соловья,
Где я различал родные слова.

10

Там продавали «крымские виды»
В парках, курзалах, у пляжных скамей.
Но для меня виденья Тавриды

---

[1] Испорченное английское high life — «светская жизнь».

Античною родиной были моей.
Откуда пришли мои предки? С гор?
С моря? С поля? Но до сих пор
Несу я в крови, от эпох молодея,
Скифа, эллина, иудея.

11

Как я был счастлив! Гудящий зной
Меня озолачивал желтизной.
Тополь приветствовал рябенькой «рыбкой»[1],
И снежных аистов плавный поток
Меж алых носов и коралловых ног,
Как зубы меж губ, сиял мне улыбкой.

12

Там каждый камень сожженною пемзой
Жар любви моей изобличал,
Там загорелся и заблистал
В четыре буквы созвездный вензель,
Хоть, вероятно, у астронома
Ему присвоен особый номер.

В четыре буквы созвездный вензель
Вензель Вензель Лиза Буквы
Лиза Вензель Буквы-буковый
Л Буковина Венз Гензель
Гр Луиза Элиза Вензель
Венз.

---

[1] Тополя трепещут, поскрипывая,
Серебрясь чешуей листвы,
Словно плещется в ветках рыба,
Мучаясь над сушью мостовых.
Так и я, взлетевший в поднебесье,
Вздувшиеся жабры горяча,
Отдал бы все свои песни
За полстакана ручья.

13

И мутно-багровое в клетку манто
Томило меня на гвозде заката,
На шахматном поле газетных загадок,
Под серебристые брызги мандол,
Под легких пролеток сухое стаккато,
Где лошади были с глазами мадонн.

14

Прелестный край! Он уплыл, исчез,
А ныне для нас невеликая честь
Жить отогретыми именами,
И я говорю равнодушно: «Ах да»,
Когда прибывают в штемпелях дат
Жаркие марки воспоминаний.

15

Но будет о них. Граненый флакон
Из-под духов, памятных с детства,
Бронзовый лист, что ветром влеком,
Сердце оплетший, когда мы бродили,
Все эти тембры унылых идиллий,
Милые вы, ну куда с вами деться?
Разве что в склянке чернилам жить,
А лист под номером к «Делу» подшить.

16

Но не подшить ни к какому делу
Того, что сильнее, чем красота...
Когда свобода, рождаясь в груди,
И, никому не желая злого,
По-детски наивно требует слова,
А ей фельдфебельское: «Осади!» —
Тогда от боли не чувствуешь тела,
А ум как серная кислота.

17

Крым... Как весело в буханьях пушки
Кровь свою пролил я там впервой!
Но там же впервые явился Пушкин
И за руку ввел меня в круг роковой.
Сначала я тихо корпел над рифмой,
На ямбе качался, как на волне...
И вдруг почуял я вой надрывный...
Жизнь разверзлась пещью в огне!

18

Как я завидую псевдогениям,
Храбро рифмующим «новь» — «любовь»...
Им не ломать над вопросами лбов,
И не бродить по житейским геєннам,
И не таить годами меж губ
Мертвое слово — задохшийся труп.
Утром встанут, потянутся, свистнут
И в «Комсомолке» стишата тиснут.

19

Железный критик! Предвижу разнос:
«Нет, не ему эпоху седлать!
Поэт, как царской службы солдат,
Должон
выглядеть
весело!»
М-да... Не умею курносить нос,
Если на квинту его повесили,
Рот ухмылять от виска до виска,
Если в глазах собачья тоска...

20

Итак, Пашка Саввич лежит в постели.
Ниночка-душечка подле него.
Олеографии (две пастели) —
Все убранство жилища его.
А что и нужно? Пашка мечтает.

Ниночка Роду-Роду [1] читает.
Глубокое чтиво! Морщинка легла.
Книжка чем-то ее увлекла.

21

Но Пашка о Нинке забыл до поры.
Он видит: в рубрике полчищ вражьих —
Сидит себе столбиком у норы
В рыжих веснушках суслик-евражек.
Евражка сидит, издает свисток
И лапками крестится на восток,
Даже во снах не думая, рыжий,
Что скоро ему фигурять в Париже.

22

Но вдруг в коридоре раздался звонок:
«Одиннадцать долгих и два коротких!»
Вбежала со всех бабо-яжьих ног
Одна старушенция в папильотках
И завизжала: «К вам это, к вам!
Вы и откройте! Вы с вашей Ниной!
Моих-то коротких... два с половиной!»
Но кто-то входил уже в Пашкин вигвам.

23

Это был Гуров с какою-то дамой.
Дама юношески хороша:
Капризный рот, подбородок упрямый,
И все же из тех таинственных женщин,
Что возникали от корня «жѐньшѐнь» [2].
А Пашка глядел и угрюмо решал:
— Что моя жизнь? Она сражена,
Если эта — чужая жена...

---

[1] Рода-Рода — юмористический писатель.
[2] «Корень-человек» — по китайским верованиям, обладает силой волшебства.

24

Гуров себя почувствовал графом
И стал озираться по олеографиям.
Особенно та, что подле окна,
Его омерзение привлекла:
Бриг в парусах с отечной осадью
С маленьким тузиком где-то сзади
На райский берег плавно плывет
Зеленой луною полночных вод.

25

А рядом «чарует» инóй мотив:
Ночь. В снегу освещенные окна.
Пестрая будка — должно быть, пост.
Лихо скалясь, молоденький пес,
Клокастый букетище свой закрутив
И собственной растроганный
Отвагой,
Лает на волка. Угрюмый бирюк
Слышит в нем запах железа и рук.

26

Дамским ногтем цвета травы
Изысканно почесав подбородок,
Гуров заметил о Роде-Роде:
«М-да, юморисцика вагонного тсипа».
Голос низкий и несколько сиплый,
Будто басок цыганской гитары,
Произнес: «Ну, это автор старый.
Я предпочитаю О. Генри. А вы?»

27

Хотя величайший из брóдвейских клерков
Был едва ли моложе коллеги —
(Оба набили трубки в аду
Почти в одном и том же году),
Но Нинка, бесстрастью лицо исковеркав,

Глазела на церковь из семи глав,
А Пашка молчал безъязыким калекой
И даже забыл знаменитый хав-ля».

28

Так прошел век. И второй. И третий.
Спускаясь по лестнице, дама говорила:
«Я ничего не вынесла из этой встречи».
Гуров: «Да-мм, а уж лицом — Гаврила».
«А кто эта Пупуль? Она в вашем шарме;
Но вы были прелесть какой нерасторопный».
«Но, обошаемая, пред вашими чшарами
Я ведзь стою абсолютно вкопанный».

29

«Нет, серьезно, Владимир Сергеич,
Расскажите-ка мне об этом волчонке.
(Как все неудачники в жизни, она
Чужою судьбой бывала полна.)
Ну вот... Он, кажется, красногвардеец
И даже дрался на какой-то войчонке
Где-то в Чечне. Хотите в пивную?»
«Но, обошаемая, я ведзь ревную».

30

«Владимир Сергеич, вы невыносимы —
Вспомните наш разговор вчера».
«Обошаемая, стоит ли? В такие вечера...»
«Постойте, где моя перчатка?» — «Какая-с?»
«Да эта, левая».— «Когда же вы носили?»
«Господи, какой вы бестолковый, да при вас».
«Ох, обошаемая, ручку — каюсь».
«Ну-ну-ну, ладно уж, наплевать.

31

Итак, вы хотели мне рассказать
О Полуярове. Кто он, казак?
Ах да — вспомнила, ведь его братец

Как-то рассказывал подробно о Якутии.
Итак, Владимир Сергеич, нуте.
Да ну же. Вы спите? Откройте вежды.
Владимир Сергеич, будьте же вежливы».
«Ну что же, обошаемая, Онисим Кондратьич...»

32

А Нинка говорила: «Какие перчатки!
А Гуров-то, Гуров: лакей для услуг.
Плетется, несчастный, за ней Христа ради».
Пашка ругнулся: «А в секретариате
Сидит, как пуп, над казенной печатью».
А впрочем, диву давались вслух,
Зачем пожаловали секретарь и замша?..

Под стулом валялась перчатка. Замша.

Коктебель
V. 1927

ГЛАВА VI

> Во время революции делается
> глупостей ничуть не меньше,
> чем во всякое другое время.
>
> *К. Маркс*

1

В Пушторге только что вымыт пол;
Вьюшки начищены до тульской яри.
Туннель коридора в системе табличек:
«Член правленья», «Директор», «Пом».
В огромных окнах серое обличье
Конструкций, смягченных туманом и гарью;
Шведские бюро с опущенными шторами
В лакированном спокойствии выжидают
шторма.

2

Первым является Саввич. Раскрыв
Вокзальное окно в диаграммную клетку,
Он энергично вращает гантели,
Вдыхая туман, стекающий с крыш.
Ведь комната его-то: с кармашек жилетки —
Десять аршин. А в этом отеле,
Покуда нет проклятущей Настеньки,
Самое вȍ двинуть гимнастикой.

3

Затем, оседлав пиджачишком стул
И вытянув истинно вузовские ноги,
Пашка усаживается за «Биологию»,
Поскольку имеются полчаса,

Но в чернильнице жужжала запоздалая оса,
Ликвидация ее заняла две минуты,
Да клякса в сопровождении «ну-ты»
Съела промокашек добрую версту.

4

Северьян Аккуратич, сердитый, как барсук,
Несется, держа зонт и галоши.
Кашель его поминутен и сух.
Нервный кашель. XX века.
Бюро открывается. И первая веха
Плохого настроенья, становящегося плоше:
«Зачем вы открыли это окно?
Либо регламент, либо Махно».

5

Саввич отвечает: «Любезный папаша.
Клянусь Главпрофобром, это дело не ваше.
Будь я служащим Экспортного Отдела,
Тогда согласен — ваше это дело.
Но таки-каки у меня зав,
Вы сами понимаете, что дело хав-ляв».
Причина отлития подобной острюли
В том, что Кондратьич глух, как кастрюля.

6

Правда, мотивы эти наивны.
Но Пашка ненавидел Северьяна за то,
Что тот в молодежи видел затор
И ничему не учил их. Случалось,
Истратив на книгу последний двугривенный,
С лозунгом: «Специалес ист аллес»,
Пашка готов был его лобызать,
Чтоб разъяснил такой-то абзац.

7

Но Северьян, притворяясь глухим,
Совал свои корни куда-то за галстук,
Вспучивался, по-зырянски ругался

И требовал тишины.
Дык Пашка ж устроил ему Доброхим!
Невинно скосивши глаза осовелые,
Он излагал громогласно новеллы
Из девственной жизни его жены.

8

Примчался Казаров «ходом коня».
Губы его были полны огня:
Сегодня Кроль, очевидно, в ударе,
И мой шахматист получил разнос.
И вдруг Аккуратич властно произнес:
«Закрыть окно, товарищ Казарин!»
Казаров ответил: «На первом же катере
Командируйтесь к чертовой матери!»

9

Затем появляется шубка под котик,
И ножки, выстукивая тик-так,
Вынесли в шляпке с пунцовою птичкой
Личико, чистенькое, как яичко,
Писанное пером, да так,
Как воспевается в детской байке:
Точка, точка, запятайки,
Носик, ротик — оборотик.

10

Олечка Чайка бойкой походкой
В лилиях шла к своему пулемету.
(Она впервые вводила моду
Преподносить завам цветы),
Небрежно болтая с Пашкой на «ты»
И наскоро у зеркальца перекрестясь пуховкой,
Прошла в кабинет — и стебель стекал
В сельтерской дрожи полный стакан.

11

Как Андромаха своему Гектору,
Преданная очередному директору,
Олечка находила, что Кроль
Один из лучших людей России.
И лилии, убранные красиво,
Каждое утро его, как герольд,
Воспоминаясь казарменным трубам,
Приветствовали серебристым раструбом.

12

Тогда-то с хрипящим хохотом сов
С колонны слетают десять часов.
И, яростно споря о земской ренте,
Шумно влетают Поповский и Блох.
«Поповский, ваш проект определенно плох,
Так как на XIV Губконференции...»
Но Поповский покрывает канцелярский зал:
«При чем тут Губ, если Ленин сказал?»

13

Держащие друг друга за пуговицу с мясом,
Причем у Блоха дирижировала кисть,
Оба беспартийца преданы массам,
Но первый в оппозиции, а второй цекист.
И хоть оба добросовестно просматривали
«Правду»,
Но каждый усматривал особую правду.
(С тех же колонн, с раскосых усов
Слетают одиннадцать медных часов.)

14

Казаров с гипнотическим выраженьем глаз
Движется на Гурова вплотную, как лунатик:
«Играю наизусть. Белые».— «Нате».
«E_2E_4».— «E_7E_5».
«Конь G_1 — F_3».— «Опять?

Испанская партия, товарищ Капабласкер».
«Играйте, играйте — теперь без поблажки
На одиннадцатом ходе покажу вам класс».

15

Огромное окно еще открыто настежь.
И леший туман с седой бородой
На никеле с кипяченой бурдой
Оседает мутной морошкой.
Тогда появляется уборщица Настя
И, верхним чутьем угадав беду,
Разражается: «Бесстыжий. Да он ето нарошно,
Да я до господина дилехтора дойду».

16

«Господа, почтеннейшая, в Черном море,
Хав-ляв, как говорится,— за что боролись?»
Однако Аккуратич объяснил, что пролысь
У белки бывает только весной,
Но Поповский не принял блошиных основ —
Он гремел своим шепотом члена Каморры,
Так что Казаров с шахом в ушах
Вполне согласился на «вечный шах».

17

Так так татàк... «В Зырянский союз.
Настоящим доводим до вашего сведенья...»
«Северьян Кондратич: заседание в СТО».
«Благодарю вас».— «Товарищ, постой,
Эй, псс... товарищ, куда?»
«Мы с пушного складу товарищ, значит,
Федин,
Насчет спецодёжи, халатов, значит, блуз,
Опять же аптечки».— «Телефонаа. Дадаа».

18

В Секции суслика все за работой:
Бунты разбирает комсомолец Васёк;
Саввич, оставив свою «Биологию»,

Страстно подсчитывает сборы и налоги;
Блох, его единственный помощник «за все»,
Сунув ноги в женины боты,
Надел на лампу бумажный капор —
И щелкают кости, как danse macabre.

19

«Саввич, к докладу!» Брезгливый Гуров
Величественно подобрал окурок...
И бросил в урну (одна из обуз).
В кабинете Кроль корректирует депеши
(Белый медведь, календарь, бюст).
Подпись осушает с миною тупейшей
Маслов, который, создав уклад,
Почтительнейше прервал доклад.

20

Саввич, держа свою папку у сердца,
Бледнея, садится на стул у дверей.
Он не уверен, что Кроль не рассердится,
Белый медведь, бюст, календарь —
Если он сядет хотя бы в кресло.
Но Карташев рявкнул гневно и весело,
От бюрократической тишины зверея:
«Каково поживаешь, крысиный царь?»

21

Все равнодушно оглянулись на Саввича.
Тишина. Размахнувшись в последний росчерк,
Кроль изумился: «Вот это мне нравится:
Я себе пишу, а остальные молчат.
Продолжайте, прошу вас. Короче и проще».
Маслов откашлялся: «По поводу волчат...»
Картышев, накручивая из усищ усики,
Ждал содоклада завсекцией суслика.

22

И Пашка начал: «Суслик — зверок
Маленький, серенький, незаметный.
Но этот зверок, по сути,— злой рок!

Дела его погрознее Этны!
Казалось бы, нет особенных драм
В том, что суслик сгрызет килограмм,
Но он становится силою рока,
Распространяясь до Владивостока».

23

И Пашка начал божиться в том,
Что сус — политическая проблема!
(Кроль иронически подмигнул Маслову:
Приходится, мол, ему верить на слово),
Что суслики — это мамайское племя,
Заполонившее русскую землю.
(Кроль искривился ноздрей и ртом:
«Это ж компетенция Наркомзема».)

24

Но Пашка сказал, что в запрошлом году
Наркомзем признал, что необходимо,
Чтоб мужики несли при налоге
По пяти сусликов с дыма.
(Кроль удивился: что за болтология),
Но приказом не разрыта ни единая норка.
Но теперь, когда в Нью-Йорке суслик в ходу...
(Кроль поморщился от «Нью-Йорка».)

25

(«Ряд волшебных изменений милого лица»
Не укрылся от масловских лютых гляделок.
Нет, он не против суслячьего дела —
Он сам изучал его допоздна —
Но Кроль недоволен — и двуногая лиса
Сунула записку под звоночный клавиш:
«В огороде бузина,
А на докладе Саввич».)

26

...Теперь уж вопрос по-новому встал:
Сближение вех мужика и рабочего —
И очень хорошо, что коммерческая почва
И вывоз покажут, что опыт здоровый;
Вы знаете, что три копейки с хвоста
Многим крестьянам дадут корову.
Суслик покроет поволжский сплав!
(И Пашка чуть-чуть не вскричал: «Хав-ляв».)

27

Картышев радостно подумал: «Серёж!
А ведь парень с вентиляцией!»
И сказал: «Дело!
Наш мужичок из такого тела:
Задаром блохи на себе не убьет.
А тут коровка... Спасенная рожь...»
И Пашка, объятый пафосом клирика,
Стал с Наркомземом вязать Наркомпрод,
Но Кроль лаконически встал: «Это лирика!

28

Вехи, проблемы, проблемы, вехи...
А мне нужны люди, а не человеки,
Люди, понимаете? Коммерческий народ.
(Он нервно дернул ноздрю и рот.)
Подождем же, покуда вы станете старше,
А двадцать лет есть двадцать лет».
И тень, как личная секретарша,
Взялась за одно из дверных колец.

29

Саввич поплелся, слегка волочась.
Кроль, надменно брови подбросив,
Прошел на доклад к товарищу Мэку
В так называемую «священную Мэкку».
Мэк приезжал ровно на час

Для подписи в чрезвычайном акте,
А также для санкции общих вопросов,
Носящих принципиальный характер.

30

Член Бюджетной Комиссии ВЦИКа,
Член Коллегии Главконцескома,
Замредактора «Вестник Истпарт»,
Он любил играть, не скрывая карт,
И умел говорить аппетитно и тихо,
Но так, точно вы с ним старинный знакомый,
Будь то Дуняша иль целый съезд.
Нно — если нужно — съест!

31

Товарищ Мэк увлекался статистикой,
Маркса и Энгельса знал до листика,
В сложнейших вопросах, где мгла и муть,
Мгновенно ухватывал самую суть;
Себя называя «именитое купечество»,
Он в цифрах Пушторга идею ловил...
Еще деталь: он любил человечество,
Людей же не знал и не любил.

32

На нем была с петухами рубаха
Из белого шелкового полотна,
Синий пиджак, где звенела одна,
Точно струна из «Арии» Баха [1],
Пуговица. Колокольпый лоб
Зарывался трясиной под детский подпух.
Таков был «Сам», это «Тсс», эта «Подпись»,
Величественная, как Обь.

---

[1] «Ария» Баха написана для исполнения на одной струне.

33

Лев Семеныч, невесомый, как пар,
Но чувствуя в ухе нервную трель,
Не сопровождаемый более тенью,
Вошел и уселся: «Мое почтенье.
Один армянин пришел в зоопарк.
Видит жирафа. Смотрел, смотрел,
Думал, думал, наконец — дошел:
«Нэ может бить», плюнул и ушел».

Водосточная шея Нога, нога
С той стороны остальные. Рога
Хвостик и кляксы. Похоже, но густо.
Почему жирафов не шлют на бега?
Д. б. нет спортивного чувства.

34

Есть такие люди. Как распыленный душ,
Они льют на темя теплую водичку,
И точно благородное дерево дичку,
Будь вы трижды прозорливы и высоки,
Все же выструите кровяные соки
В жилки этих легких душ,
Чтобы, устав от боевых великолепий,
Забыться в журчанье уютного лепета.

35

А Христиан Иваныч, как человек тучный,
Держался рецепта: сода и смеяться.
И Лев Семеныч
В роли паяца
Был просто необходим старику.
«Однако, голуба, мне нужно в РКУ,
Давай начинать».
Прекословить отученный,
Кроль языкнул зубочистку за щеку
С изящной развязностью бывшего приказчика.

36

Прикрывши веки стариковской рукой
В готических буквах желтоватого склероза,
Христиан Иваныч, слушая Кроля,
Чертил то «белка», «белка», то «кролик».
Дело цвело, как ширазская роза,
Шагало галошей реклам «Скороход» —
В Кроации, в Галиции, в Слова-кии, во Вракии
Лисицы, куницы, выхуходь, каракули.

37

Цветной карандаш, замирая, сник
Линией радостного удивленья.
Мэк поднял ухо. Ухо оленя
У полной звезд черноглазой реки...
В речи Кроля, полной дерзанья,
Чудились газовые пузырьки
(Старик не знал, что в этот миг
Он глазами застыл на бутылке нарзана).

38

«Лихо, Семеныч! Но я, брат, педант.
Я в шубе на точно подобранных лирах...[1]
Но уж прости любопытство Мэка:
Как ты насчет дешевого меха?

39

Я мало смыслю в этом зверье,
Тебе, пушнику, тово, бишь яснее;
Но — как я вижу, мы дьявольски люто
Прем за границу пушную валюту.
Оно, пожалуй, конечно, не вред,
Но стоит ли нам хватать из-под снега
Одни драгоценные, что ли, сорта,
А серые массы пускать мимо рта?»

---

[1] Лира — название зверя.

40

Истина в цилиндре, в пифагоровых штанах
Вошла, опираясь на линию AB.
Мэк продолжал: «Будь я Кролем, я бы...»
Но Кроль, подергав ноздрей и ртом,
Подойдя к рампе, запел о том,
Что этот вопрос обсуждался на днях,
Что он политическая проблема,
Что суслик буквально же майское племя.

41

Сейчас, мол, вопрос уже явственно встал
За нахожденьем приличной почвы,
Сейчас безо всяких оттяжек и прочего
Суслик пойдет по столицам держав;
Вы знаете, пара копеек с хвоста
Дадут мужичкам запастись коровенкой,
А может быть, даже и хаткой.
«Вон как?»
(О, если бы Мэк слыхал про хав-ляв!)

42

Однажды в одном из клостерий Берлина
Послал настоятель монаха в подвал.
А так как сей брат порой выпивал,
То он и провел по губам его линию
Жженою пробкой. Брат Юлиан
Вернулся, святую молитву лия,
С жирной чертой на губе напряженной...
А пробка-то вовсе и не была жженой.

43

Линию AB можете согнуть
И отдать китайцам, торгующим бязью.
Тучная сажа дымилась над базой,
Обложив жиром пресную нудь
Тряпичного неба. Чернея сугубо,

Его подпирало величие куба,
На крыше которого рыжий тигр
Ждал огней для рекламных игр.
Тигр Тигр игр Игорь
Игр игрушка тигрушка Тигр!
Т... А когда направляешься в «Мюр»
За чайником или (крупчаткой),
Ты мне за ухом чешешь перчаткой,
Чтоб услышать любимое — мурр...
Чтобы мне с тобой (жизнь) мир встречать
С невесомой грузностью тигра,
На горячих басах (октавах), басах ррычаа: «Эй!
Я партию жизни выиграл».

44

В квадратных окнах, разбитых на клетки,
Как диаграммы, стоят чертежи
Геометрических зданий в тумане.
В такие минуты — скажу между нами —
В такие минуты, поверьте, жить
Может кассирша в черной колетке,
Может в багете и раме портрет,
Но только не он, не В. З., не поэт.

45

Он думал об Ольге Петровне Чайке.
Он ей обещал балладу о чайке
Вчера, когда были вместе в кино.
Но чайка упрямо не вылетала
Из-под пера. Он глядел в окно,
Воображая прибой в Италии,
Но провод грезы перерезал,
И Зайцев послал по столам через зал:
«Стихи пишу
Я только ночью.
Они днем не
Даются мне.
Но погодите,
Я воочью
Их напишу
Вам на листе».

46

В ожиданье ответа он вычел налог
И, вписавши девятку кому-то в дѐбет,
Нашел, что с очками и в профиль — Блох
Поразительно похож на девять.
Но линией канцелярских пешек
От стола к столу, от абзаца к абзацу
Летела состряпанная депеша:
«Срочно. Секретно. Товарищу Зайцеву:
Зайцев слышал раз во сне
Чум-чуура-чурара
Крики Чайки белосне —
Куку».

47

Престиж поэта стоял на карте:
Все хохотали, уйдя в счета.
О, если бы это случилось в марте,
Весной, когда разлито вдохновенье...
Прошел Поповский и прыснул: «Читал?»
Зайцев чувствовал, что летит в омут.
Так нет же. И вздулись и прянули вены!!
Так был создан «Ответ на экспромт»:
«Любезный друг!
Не думай ты, что я
На все стихи
Вниманье обращаю:
Без рифмы вся
Эпистула твоя —
Я ж их лишь с рифмой
Почитаю».

48

Комсомолец Васёк уже нес ответ,
Но миру не суждено было знать,
Что потеряла бы нынче казна
На этой классической переписке:
Картышев двинул плечищами дверь
И, сцапавши зà ухо Ваську, пискнул:

«Не в дружбу, а в службу: узнай-ка, жиган,
Не у себя ли товарищ Каган?»
Расходы на 1-е: пара яиц,
Обед на двух, стакан какао
Плюс неизвестно куда — тридц...
Итого: 33. Хаос!!!

49

Товарищ Каган был членом правленья
(Тряпичный пиджак на снежной сорочке).
Входит Картышев. «Аа! Сережка.
Что это ты глядишь сентябрем?»
«Нервы шалят».— «Ого, у тебя-то?»
«Тут не до шуток: наше полено
Двинуло Мэку такого ультимата,
Что хоть сейчас принимай бром».

50

«Именно?» — «Онисим Кондратьича убрать,
А его дирехтором».— «Вот как? Ага. Ну?»
«И тому прочье. Да ведь он Кагану
Прежде всех заявить бы должбн».
«Дело не в формальностях».— «То-то, что
у форме;
Ведь Северьяну Онисим брат.
Более больше того: уж он
С этим выходит как с лучшими фòрами».

51

«Ну?» — «Вот те ну. С соблюдением правил
Наркомтруда одному, мол, уйтить.
Понял? А Кроль, дескать, дело направил,
Вызвал доверие северян,
И, стало быть, только нужон Северьян,
А уж Онисим, конечно, тожа
Работник что надо, да, сучья сыть,
Они, вишь, сработаться досе не можут».

52

Каган, ни слова не говоря,
Хотя во рту окислялась пуля,
Разбрызгал подписи с чьими-то в ряд,
Вызвал секретаря и вышел.
Мэк удивился: «А я к вам с буллой: [1]
Хочу вот Кроля в директора.
Оказывается...» — «Да-да, я слышал,
Но это, простите меня, на ура;

53

Онисим Кондратьич в меховом мире —
Личность легендарная, авторитет.
А Кроль? Ведь это партийный повеса:
За два года десяток профессий».
Мэк изумленно застрял в бороде:
«Прежде всего мы нуждаемся в мире —
Они не дружат, партиец и «без»,
А мы-то, надеюсь, глядим не с небес?

54

А что до легенд, то я реалист:
Гарц с легендами Гете и нации
Имеет ввысь — 217,
А Вульворт-Бильдинг, всеобщий агент,
310 без всяких легенд [2].
И наконец — да где ж это видано?
Нет, дорогой, вам просто завидно —
Возьмите перо, и вот вам лист».

---

[1] Булла — папский указ.

[2] Гарц — гора в Германии, где, по преданию, происходил шабаш ведьм, описанный Гете в «Фаусте». Вульварт-Бильдинг — 52-этажный небоскреб в Нью-Йорке, вместилище коммерческих контор.

55

И Саввич гадал: «То ли я глуп,
Глупее самого сивого мерина,
То ли, гипотезу эту лелея,
Мне испытать судьбу Галилея?»
И он зашагал в студенческий клуб
Прямолинейно и равномерно
И в секции бокса — в бога и в душу —
Бил набитую тырсой тушу.

56

Коричневый мишка из мягкого плюша,
Накрепко сшитый, смешной, неуклюжий,
Лежал под диваном. Там он и жил.
Над ним шумел фешенебельный угол
Ванек-встанек, паяцев, кукол
В глухом недовольстве диванных пружин,
Но плюшевый мишка покуда не дрыгал,
А пуговичками уставился в книгу.

Коктебель
V. 1927

ГЛАВА VII

Кипит наш разум возмущенный.

«Интернационал»

1

ТОВАРИЩУ МЭКУ

Товарищ Мэк!
Имею смелость к Вам обратиться
Без реверансов и прочих помех —
Просто, как партиец к партийцу.
Начну прямо. Нас потрясло,
Что Полуярова сдали на слом,
А место с ответственнейшею ролью
Будет отдано Кролю.

2

Вы очень щедрый, товарищ Мэк.
О Кроле — не буду — тут просто смех;
Но за Онисима сердце ноет!..
Я понимаю его хорошо:
Он горд, неуживчив, по-своему узок,
Запутался в интеллигентских узах,
Но это особый тип — коммуноид,
Который с нами пойдет на рожон.

3

Он чует ноздрями за сотни верст!
В мозгу ж у него — номерки теорий,
И все это, знаешь, можно не слушать,
Но коли о мехе — развесьте уши:
Большего специалиста нет

Он знает пушнину от «A» до «Z»,
Он скажет, взглянув на остриженный ворс,
Откуда зверье и год им который.

4

Это последний интеллигент,
Которых буржуи не дорастили.
Прежние ездили в Иену, в Гент
И нюнили там о судьбах России,
А он Россию знает норой,
Он из Европы бежал в революцию,
И ежели Рудины «лишние» люди,
То Полуяровы — «нужный» народ.

5

«Нужные люди!» О них мечтал
Капитализм семи поколений,
Покуда на Русь многоумные немцы
Ездили с Рейна, плавали с Темзы.
Но вот наконец буржуа поколели,
А нам в наследство достался металл
Заказа капиталистической лавки,
Но еще годный для переплавки.

6

К примеру, Онисим. Он в Упсале жил,
Когда над страной разразился Октябрь.
Он шведской фирме отлично служил
И мог капитальчик нажить в Европе.
Но он прилетел. Голодный и в робе,
Боем пошел на обломовский табор,
Тогда как другие ушли в саботаж.
Клянусь Ильичем,— это парень наш!

7

Конечно же, он в политике слаб,
Так как не занимается ею,
Как, например, подборкою лап.

Но нашу цель, нашу идею
Он принимает на все на сто.
И вскорости кастовой чести настой
Сменился бы коммунистической призмой;
И это, товарищ Мэк, не каприз мой.

8

Каждое дело надо знать.
Один знает мех, другой революцию.
Я сам, хотев подзаняться на ять,
Штудировал Брема, подзубривал Лютце,
В лабораториях ел и спал,
Пока в «отрывисты» чуть не попал,
Завяз в нагрузках до исключенья —
И коли не выдержу — брошу ученье.

9

Но это я! Профессионал!
Как бы сказать, инженер-идеолог,
Диплом которых не менее долог;
Но если б я меховщину узнал,
То, оставаясь опять коммунистом,
Жизнь свою бы отдал куницам.
Пойми, что тут разделенье труда:
Примесь иная, но та же руда.

10

Прости, товарищ, что так говорю:
В наше время надо доказывать,
Что вымя не опухоль, ноздри не язвы:
Стесняться тут нечего. А коли вру —
Ну что ж — председатель теперь не гроза ведь:
Со службы не сгонишь. Пишу, как дышу,
Сдаваясь не всякому падежу.

Завсекцией суслика
Павел Саввич.

11

Рыжий медведь, босой, дюжий,
Прихрамывающий от неуклюжести,
Хрюкая, брел по талой тропе.
Он славно хромал, не длинней, не короче,
Отряхивая кору и репей,
Прилипшие за зиму к окорочью.
А рыхлые стопы его неуклюжья
За ним остывали лиловою лужей.

Томилино
IV.

ГЛАВА VIII, за которую автор на себя ответственности не принимает (sic!)

Бойтесь этого человека!
Он говорит, что думает!

Биконсфильд

1

«Пенза.
Дорогой Северьян!
Пишу, как видишь, с места происшествия.
Дела неважнецкие. Кой-что есть,
Но зольные, «глазки», «свищи» да «течка» [1].
Фурор производит моя аптечка
И докторский халат. У местного зверья
По смерти или до, но слипшаяся шерсть:
Не знаешь ли, что тут чему предшествует?

2

Что до резолюции Кроля о конвенции,
То не напрасно говорят венцы:
«Если еврей умен — это Маркс,
Но если он глуп — это Лева Кроль».
Впрочем, пусть почитает Аркос
И подрожит своей левой икрой.
Но уж за что уважаю Кроля,
Это за женку — вот женщина: o la!

---

[1] Зольной пушниной называется такая, мездра которой осушена золой, отчего начинает трескаться, ломаться и рваться; «глазки» — белые пятна на плечах красной лисицы (дефект); «течка» — облысение шкуры, снятой со зверя, застреленного в период спариванья.

3

Она превосходит все образцы
Мифологии, поэзии, парфюмерии.
Нет, представь себе: в полной мере
Мальчик, стриженный à la «мюжик»,
При этом тонкий женственный шик,
Великолепно поставлена поступь,
Вздернут носик, а уж резцы,
Как у песца: из сахара и злости.

4

Кстати, песцы: ведь снегу-то нет?
А дурень песец все белеет — и значит,
Бой песцов, что так правильно начат,
Будет сорван. Белый медведь,
Волк, росомаха в этом бесснежье
Белую шкурку не очень занежат.
А я говорил: нам нужен самим
Питомник, питомник, питомник. Аминь.

5

Еще повторю: пушной лицей
Необходим, как бы ты ни смеялся.
Ты помнишь, в детстве я удивлялся,
Зачем обезьяне руки на ногах?
Теперь удивляюсь обратному в лице
Нашего директора местных отделений:
«Долой рукопожатье», на стене Ленин,
В петлице МОПР, а дело никак.

6

По-моему, это большая проблема.
Директор, быть может, душа-человек,
Да вытянут за уши. Государство
Вздымает неимоверное бремя,

Идет путями невиданных вех,
Тут ветер истории — и вдруг благодарствуй:
К волчьей стае с вьюгой в ушах
Суслик с мандатом идет как вожак.

7

А почему? Небольшое отступление.
Когда при мне произносят «Ленин»,
Я вижу в толпе эпохальных химер
Ум ясновидца. Да вот, например,
Как хлебороб, он поднял на вилы
Не разрешенный до наших пор
Истинно русский столетний спор
«Западника» и «славянофила».

8

Ленин учел особую стать
России Тютчева, Скифии Блока.
Не знаю, поймешь ли ты мой восторг —
Он слил проблему «Запад — Восток»
В идею рабоче-крестьянского блока.

9

Рабочий — Запад. Мужик — Восток.
Рабочий — Европа. Мужик — славянство.
Рабочий — грядущей Коммуны росток,
Мужик — дремучее постоянство.
Рабочий — город. Мужик — степь.
Рабочий — свобода. Мужик — цепь.
К вершинам должен поднять рабочий
Крестьянство проселков, увалов, обочин.

10

Кажется, просто? Схема ясна?
Но ведь российская наша деревня
Недаром зовется Соха Андревна:

Индустрия, государь мой, нужна!
Муза скобок и радикала!
Дабы революция протекала,
Нужно явленье — да, да, неминуемо,—
Интеллигенцией именуемое.

11

Но тут неудача. Струве, Гейнце,
Пятый, седьмой из таких, как вы вот,
Пред капиталом пали ниц.
И что же? Отсюда делают вывод,
Что всех оттенков интеллигенция,
За исключением единиц,
Хоть и нужна, как завод, как домна,—
Непримирима и вероломна.

12

Так ли это? Так и не так.
Наш брат для партии только мастак:
«Коли умеет то-то и то-то,
Пусть и дает, мол, свое мастерство».
А мысль? Пардон: не его забота.
Думать будем *мы* за него!
Вот и решеньице. Любо-мило.
Прицела-то дальнего и не хватило.

13

От слоя, привыкшего жить в идеях,
Хотят добиться бряцанием денег
Труда по совести, хоть без души.
Говоря прямо — работы машины.
Не так ли, сжимая в кармане гроши,
Бредут по бульварам иные мужчины
И, ощущая пламень в крови,
Ищут лобзания без любви?

14

Зачем я пишу это все *тебе?*
Не знаю. Тебе-то легко живется.
Ты ненавидишь красные звезды,
Ты не грустишь о народной судьбе,
Тебе от партийных ошибок не горько.
Не принимаешь — так и живешь,
Сам себе и народ и вождь.
«Чем хуже, тем лучше» — твоя поговорка.

15

Нет, Северьян. Ты меня не поймешь.
Мне дорога́ революция.
Я так хотел бы учить молодежь,
Отдать ей все свое самое лучшее...
Ты не поймешь, Северьяша. Ты зверь.
Ты затаился и не перечишь.
А я? Для чего я развил свои плечи?
Мечтал? Учился? Верь не верь —

16

Я нынче лишен ощущения дома.
Мы саардамцы отныне. Для нас
Россия просто физический атлас.
И сколько б газета с виду ни сваталась,
Абстракцией гуманизма пленясь,
Этот спектакль — одна истома:
В печати,.посмотришь, чуть не объятья,
На деле — холодные рукопожатья.

17

А нищая республика, где бить бы затор
Дружной скупостью, коли не ссудой —
Сократив штаты, на каждом нерве
Содержит гяура и правоверного;
И Кроль, который не знал, егоза,

Ни рынка, ни зверя, ни Маркса, ни аза —
Сосет свои 200 рублей за то,
Что мешает работе. Ну ладно, не буду.

18

Что у вас? Как? Здесь попросту скверно.
Грустно, тоска. Пошел было в сквер, но,
Кроме лермонтовской головы,
Зеленой от ягеля, нет утешенья.
По новой привычке ухожу в чтенье —
Читаю... «Мцыри». Ну, знаешь — увы:
Трудно дается — буквально упарился.
И кроме того — там ляпсус о барсе.

19

Барс на Кавказе? Это курьезно.
Летопись об Иоанне Грозном
Говорит: «Бысть вельми крепконог
И храбросерд и силен, аки пардус»,
То есть леопард. Его северный адрес
Мог поюжнеть. Но барс? Невдомек.
Но барсу нельзя отказать в победе:
Он взял Кавказ и в энциклопедии.

20

Впрочем, о четкости в нашей стране
Говорить не приходится. Каждая мелочь,
Мягко выражаясь, имеет смелость
Каким-то боком быть в стороне
И, словно на стенке солнечный заяц,
Существовать, стены не касаясь.
К примеру, пушнина. Ведь до сих пор
В России путают «бобр» и «бобёр».

21

Бобр речной (podentia) — прост:
Это грызун, хоть из самых отличных;
Морской же бобер (carnivora) — хищник,

В сравнении с первым он белая кость.
Однако послушай крестьянский хор:
Ничтоже сумняшеся дуют от печки —
«Как во той во речке
Купалси бобер».

22

Ты знаешь — я трачу на это здоровье.
Читал я где-то поэму «Рысь».
Мой визави, дело было в вагоне,
В белом свитере русской вигони,
С обликом, видимо, смешанной крови,
Стал демонстрировать резвую рысь,
Преподнеся мне свое откровенье,
Что «Рысь», мол, не рысь, а история гения.

23

В двух словах: речь идет о том,
Как рысенок, покинув логово,
Из глуповатого и полуголого
Выелся в зверя, и как потом
Он все еще рос в какого-то вýндера
Дивных, невиданно красных мастей,
И как, не заботясь уже о мясце,
Терроризировал боры и тундры.

24

Ну, что им ответить, дорогой братец?
Что это явление аберрации,
Как палевый соболь и пестрый медведь?
А гений для важности? Как же — ответь:
Их много. Пожалуй, поймают с поличным,
Обзовут «ЧИПом» [1] и ограниченным
И, насладившись, заявят вкратце:
«Сами вы аберрация».

---

[1] «Ч И П» — литературная газета «Читатель и писатель».

25

Кстати, о рыси. Давай ей фосфат:
Боюсь, что зубы у ней рахитичны.
Кроме того, как приедет сват,
Отдай натаскать на охоту за дичью —
Тут очень поможет черная шерсть.
Говоря по секрету, я твердо считаю,
Что она — морфа, и лет через шесть
Черных рысей я выведу стаю.

26

Не веришь? Пари. А впрочем, ты скептик,
А я и поныне в алых очках
И пьян идейкой одной, как оргией:
Я, например, решил при Пушторге,
Взяв с Наркомзема и банка по лепте,
Создать городище песцов. Но как?
Без всяких слуг и питомников. Просто
Выбрать на Ледовитом остров —

27

В 70° с. ш. и 40° в. д.,
Вывести племя пеструшек из Норвегии,
Которым не выплыть в этой воде,
Пустить семью голубых — и во льду
Остров будет песцоваться вовеки.
Конечно, дело не в одном фураже —
Но все остальное возьмем на лету.
Ну-с, как ты смотришь на этот прожект?
Не правда ли, он... (Извини, стучатся.)

28

Дорогой Сев. Получил сейчас
Твою информацию. Что за несчастье,
Не для меня — для дела. О, господи,
Опять этот Кроль, этот принц на час.

Правда, немало стоило слез поди,
Угодливых хихиканий и партейных поз
Выклянчить для себя этакий пост.

29

Добро бы уж был я буржуй иль офицер,
Косился бы в сторону, надеялся на что-то;
Добро бы Кроль был полон заботы
Спасти от меня хоть того же песца —
Ну, что ж, как-никак это был бы прицел;
Но в том-то и штука, что здесь конкуренция
Спеца и лица, обладающего рентой
Хотя бы в виде должности, где нужно спецá.

30

Но как же... Как без меня Пушторг?
Как я без него? Из канабры да в орг,
Из мелкой ямки в глубокие лузы
Я шел и вязал животворные узы —
И вот поверил в Пушторг зверобой,
Русский, зырянин, тунгус, юкáгир.
Пушторг спекулянта унизил собой.
Он вырос над ним, как военный лагерь!

31

Сев.! Что будет с нашей страной?
Одним своим боком рванувшись вперед
К светлым туманностям социализма,
Она повернулась другой стороной
Опять во тьму допетровских бород,
К опричнине, местничеству — и сквозь призму
Обоих призраков не отгадать.
Куда приведет мудреная гать.

32

Ну, ладно. Допустим, что раз навсегда
Я слезы свои промокашкой вытер.
Теперь о будущем. Еду в Питер

К мистеру Куку в его «Франкорюсс».
Он меня знает, должно быть. Да:
Ты уж не шли мне более писем.
Итак, прощай. Не впадай в грусть.
Обнимаю тебя.

Онисим».

33

Слыхал ли кто рычание тигра,
Облавой выгнанного за тайгу?
Он тихо картавит, он каркает тихо,
Месяцу жалуясь, как на духу.
И это страшнее грудного грома...
Он плачет, языческое божество!
В такие минуты медведь огромный
И тот за версту обходит его.

ГЛАВА IX

Здравствуй, племя
младое, незнакомое.

Пушкин

1

Х. Мэк

Председатель правления
Акционерного О-ва «Пушторг»

На №
Дата:
О чем:
РАВЕННА
П. САВВИЧУ

Милый товарищ!
Хоть ты из меня умиленье исторг,
Но с Мэком, знаешь ли, каши не сваришь!
Я с первых же строк своего письма
Буду браниться и даже весьма.

2

Стыдно тебе, при твоей отваге,
Не отстоять законнейших прав
Юноши на учебу. Поправ
Раз навсегда обучение в вузах
Ради сомнительных ваших нагрузок,
Ты этим лишишь пролетарский лагерь
Квалифицированного ума:
Ученье свет, неученье тьма.

3

Прости, брат, что формулирую так:
В наше время не грех доказывать,
Что вымя не опухоль, ноздри не язвы.
Но переходим к повестке. Итак,
Слушали: «Дело Кроль — Полуяров»,
А также о щедрости. Звонко ударив
По моей скаредной, что ли, струне,
Ты отзвука все же не вызвал у ней.

4

Да, я скуп. Отпираться не стану.
Кто, научившись подборке лап,
При этом остался в политике слаб,
Тот республике не по карману,
Как ни держи молодца на струне,
Свои у него обертонные нотцы,
Не доглядишь — и парень стране
Очень дорого обойдется.

5

Политика, друг мой, не ремесло,
Как пчеловодство и медицина.
Это, мой друг, рулевое весло,
И ежели сей разлюбезный мужчина,
Онисим Кондратьич, не видя пути,
Плывет по наитью в открытое море,
То челн его испытает лишь горе:
С морской стихией, дружок, не шути.

6

Конечно, ты вправе спросить: так чем же
Выгоден Кроль, а не этот мой жемчуг?
Причина серьезная. Кроль — коммунист.
Пускаясь с таким в путешествие морем,
Об азбучных истинах мы с ним не спорим.

Услыша в снастях оглушающий свист,
Не станет же он вопрошать, робея:
«Это циклон или голос Борея?»

7

Да Кроль наконец наловчился как спец.
У Полуярова только спесь,
А у него обширные дали!
Взять хоть суслика. Что он? Пустяк!
А Кроль эту шкурку из жалкой детали
Поднял в пушном нашем деле так,
Что Кроля стоит воспеть на гуслях:
Корову подарит крестьянину суслик.

8

На этом и точка. Конец полемике.
Знаю: Кроль не профессор. Ну, что ж.
Я и не прочу его в академики.
Он будет работать, пока молодежь,
Пока, ну, хоть тот же юноша Саввич
Пушнину не вызубрит назубок.
А коли идейно Кроль не глубок,
То мы-то, мы для чего же, красавец?

9

Нет возражений? Постановили:
А) увольненье оставить в силе;
Б) Кроля считать как врид [1].
В) поставить студенту на вид
В отношенье наук немарксистский модус.
А в заключенье — да здравствует молодость,
Такой-сякой молодой человек!
С ком. приветом

Христиан Мэк.

[1] Временно исполняющий должность.

10

Кабаниха с колючими кабанятками,
Головоноженькими и сладкими,
Тешилась у заливного пруда.
Она улыбалась, уставя копытца,
И слюнями капала доброта.
А на опушке, не смея забыться,
Готовый услышать тревожный клик,
Кабан точил кудрявый клык.

Томилино
VII

ГЛАВА X

Бобринька-бобруня,
Бобрушечика
Уж бежал-бежал,
Уж дрожмя дрожал.

1

Карточный город Пиковой Дамы
Под небом холщовым своих декораций
Дворцов и каналов с пустыми водáми,
С тенью, где каждый — лицейский Гораций,
С муниципальной луной на крюке
Стоял, обернувшись фронтоном к реке,
Которая плавно плыла за кулисы,
За памятники эпохальных коллизий.

2

Там, на Сенатском плацу Россия,
Голландским жестом подъятая ввысь [1],
В перчатке декабрьского кирасира [2]
Сперва переходит в нервную рысь,
Чтобы на Знаменской густо и яро
Храпеть под пузом того самовара [3],
«Чей сын и чей отец народом казнены
И кто, пожав удел посмертного бесславья,
Торчит здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярем самодержавья?» [4].

---

[1] Памятник Петру I
[2] » Николаю I.
[3] » Александру III.
[4] Стихи Демьяна Бедного, выбитые на цоколе памятника Александру III.

3

По этой кривой, но в обратном порядке
От Александра и до Петра
Лихо, в одиннадцать двадцать утра
(Московский скорый) катили санки,
Где с мощным обликом русского янки
Желтый от бессонницы гражданин
Золотым перышком в красной тетрадке
Распределял очередные дни.

4

Полярной Венецией — Ленинград,
Насквозь пронизанный горькой обидой,
Плакал брильянтами (капля — карат);
Золотом сервировки оббитый,
Ныл он, переходя на вой;
Отодвинутый новой Москвой,
Он что-то бубнил про барокко, про Винчи
Паркетной столицей музейных провинций.

5

В нем что ни встреча — ареопаг;
Как драгоценный санскритский опус,
Он ощутимо прахом пропах,
Грибками высокородных чаяний;
Черни дактильных окончаний
Объявил он запрет и заклев,
И в клетке на ветхом окне в Европу
Цветным щеглом свистал Гумилев.

6

Одесса играла в Лос-Анжелос
Романтикой Мотек из Дальнего Запада;
Крым бродил от кислотного запаха
Курса червонцев и готских монет;
Москва, забыв о Мане и Моне,

С пером за ухом ворочала делом —
И все это как-то сплеталось, сжилось
В прокатном литье легендарным гуденьем.

7

А в Ленинбурге — железная ржа,
Неистребимая, невыводимая;
Бури историй, что ржали и цокали,
Медною позой остыли на цоколе
Над водянистой толпою сонных
Мраморных ангелов в демисезонах,
И усыпальницу своего имени
Мертвым диктаторам тяжко держать.

8

Стояли стеклянные холода,
Горячие, точно ветер в июле.
И когда гость
Из вестибюля
Взошел по лестнице сизого льда,
Где затонули лунные лампы,—
Лицо его ожило. Этим глазам бы
Не приписали нервозной тоски —
И только трубка зажата в тиски.

9

У черной в золоте бемской таблички
Он оглядел себя. Серый в полоску
Морзевского пунктира, без лоску,
Схваченный в талии штатский костюм
Имел напряженно военное обличье
И при движенье жалезный шум.
В матовом стиле его блистали
Часы на руке и глаза из стали.

10

У таблички надпись: «Милостивый государь,
Время — деньги. Я крайне занят,
Поэтому, предрассудки отбросив,
Заране отвечу на ряд вопросов:

Здравствуйте! — Здравствуйте, садитесь сюда,
Как здоровье? — Вполне окрепло.
Мерзкая погода.— Да, наказанье.
Чудная погода.— Великолепно».

11

У ног президента борзая Оуэй.
Кук писал. Поверхность стола
Дымчатой толщей стекла отражала
С хвостиками горностайные брови,
Детский портрет и античные тела.
В камине с треском угасло жало,
И, встав, чтобы снова разжечь его,
Он уставился на вошедшего.

12

«M-r Poloujaroff,— сказал он,— n'est ce pas?
Enchanté dé fixer ce premier pas,
Qui me fait possible de serrer votre main
Et de compliménter vos actions glorieuses».
«Nos victoires sont trop douteuses».
«Oh! Nous sommes assez fines — mouchhes
Pour distinguer dans la poix farouche
Le succin gras de votre demain».

13

«Vous êtez un artiste!» — «Seulement
gaulois».
При этом в поклоне мистера Джошуа
Вылезла американская прошва.
«Vous me prouvez encore une fois
Toute la finesse du genie français
De son esprit et de ses pensées».
«Hélas! Mon metier de fourreur me ramène
Souvent à des rèves de la race sibirienne» [1].

---

[1] «Господин Полуяров, не правда ли? Я счастлив приветствовать этот первый шаг, дающий мне возможность пожать вашу руку и выразить уважение вашей славной деятельности».— «Наши победы слишком сомнительны».— «О, мы достаточно проницатель-

14

Однако уже через несколько фраз,
Забыв о «грезе сибирских рас»,
Телефонограммой пушной король
Отправил депешу в Париж,
Где колкие «К» (Мэк, Кроль)
В плавных «Р» (Рамон, де Риш)
Свелись к четырем нулям, ибо Джошуа
Своим овчаркам платил недешево.

15

И дней через шесть, получив бумаги,
Онисим двинулся в Константинополь.
В Москве на вокзале виделся с братом.
Тот говорил о беде с аппаратом,
Отсутствии снега, о черной магии,
Какою Кроль даже Урса ухлопал,
И получил, удивившись слегка,
Письмо: «Полуярову от А. К.».

16

Сутки Онисим ехал один,
Отлеживаясь на верхнем матрасе.
В Киеве сел густой гражданин,
Четко квадратный. В зубах золотых.
Очень широкий в плечах. На руке
Вытравлена акула в реке.
Поговорили сухо и вкратце:
Фамилия попутчика была — Седых.

ны, чтобы увидеть в дикой смоле — жирный янтарь вашего будущего».— «О, да вы артист!» — «Я только француз».— «Вы лишний раз убеждаете меня в утонченности французского гения».— «Увы, моя профессия меховщика заставляет меня часто завидовать сибирской расе».

17

Под Мелитополем в красном агате
Спального фонарика дулись в кун-кэн.
Полуяров плошал. Воображенье изуверца
Путало счет и вставало кто кем:
Четверка треф казалась гатью,
Где в снеге загружен тигровый прыг,
Галочьей стаей— семерка пик,
А туз червей — увы, собственным сердцем.

18

На станции Гуляйполе Онисим
Всматривался в темноту. Гулял
Махновский хохот, и дикая степь,
Седея туманом, встречала гостей.
«Правда ли,— произнес он,— что здесь
Был, так сказать, всебандитский съезд,
На котором застрелен каким-то киргизом
Узнанный большевик Улялай?» [1]

19

Седых почему-то захохотал
И пальцами стал по стеклу барабанить.
Поезд тронулся. Между отар
Овец и коз в товарных составах
Жужжали курганы, кружились горбами...
Навстречу рельсам, свистя в суставах,
Дула с моря по обе стороны
Влажная еще от крови история.

20

Онисим лежал и глядел в окно.
Фонарь мигал внутри и снаружи.
Сильней и сильней нагревала уши
Душная сухость паровых труб.
В мокром поле было темно.

---

[1] См. эпопею «Улялаевщина».

Онисим думал о страшных тайнах,
Здесь похороненных, об отчаянных
Битвах, о зимних походах — и вдруг...

21

Черные всадники с буйных коней
Во всю темноту из конца в конец
Со свистом, свойственным пике и гону,
Вдруг поднялись к вагону, к вагону.
Один с обожженной дырой во лбу
Припал к стеклу червивостью губ:
«Поручик Байков. Застрелился в бою.
Прошу, разыщите старушку мою».

22

Другой — с горлом, зиявшим, как рот,
Хрипя, забульбулькал: «Мамаев, комрот,
В бою проморгал я секунду литую —
Прошу, разыщите мою молодую».
Со свистом и воем, давая гону,
Во всю темноту из конца в конец
Неслись, неслись бурьяном к вагону
Мертвые всадники с мертвых коней.

23

Онисим, как зверь, застонал и очнулся!
Морская синь, золотясь, как бульон,
Варила солнце в себе и сама
В нем испарялась. В небе зима
Увязана в снежное облачко. Улицы
Мягко раздували солдатское белье,
Бастионы, броненосцы, последний тополь —
И поезд шепнул: «Тсс... Севастополь».

24

Чист казарменный городок,
Построенный конусом альфою вниз,
Страдающий тесной боязнью пространства

У самых зорей взволнованных странствий.
Там все дороги ведут в док,
Там пушка ухает: «Эй, не пора бы ль
Всем циферблатам хором звонить?»
Городок-башня мышей и парабол.

25

Там же у мола западной гавани
Важно готовился в дальнее плаванье
Осевший на корму черный отель
С белыми буквами имени «Reef-Rok»,
С красным килем в латинских цифрах,
Играющим под водою, как жидкость.
Груз его: мясо, сало, жито,
Соль, мех, ель.

26

И вот растаял последний удар,
Последнее русской страны условие.
На палубе турки типа «дюшес»,
Контрабандой заткнутые до ушей;
Евреи, едущие туда,
Где Ройтман теперь уже мистер Роут
И где, как известно по южной пословице,
Рыба сама заплывает в рот.

27

На самом дне — от салона диванной,
Где пианола и столики шахмат,
По коридору двери кают.
Медь нумерации, жаром ударив,
Отсвечивала пароходный уют,
Напоминающий праздность ванны.
Каюта 4 — «О. Полуяров».
№ 5 — «Седых, Ахмáт».

28

Оба дипкурьера держались на струне,
От всех и каждого в стороне,
Не исключая того же Онисима.
Последний, в свою очередь, держался
независимо,
Тем более что спутник, встретясь, прошел,
Кивнув головой, но избегая расспросов.
Медь нумерации, блики разбросив,
Осыпáла самоварный порошок.

29

Предчувствием качки заранее измотанный,
Онисим спустился к себе и лег.
Он взял юмористический журнальчик
«Блестки»
В ажурных окружностях желтых пятен
От донышка чашки (он был опрятен).
Страница. Другая. Шарж. Диалог:
Д и т я. А зачем у тигра полоски?
М а т ь. Оттого, что в клетку не модно.

30

Как зданье в тумане, вмиг озарясь,
Становится четким в любой детали,
Пушторг в своих стеклах, бетоне и стали,
Надежда столицы, надежда зырян —
Качнулся в каюте, просвеченный стулом,
И Полуяров, к плескам и гулам
Вмиг равнодушный, порывисто встал,
Прошелся, раздумчиво засвистал.

31

Мэк уверен, что Кроль — пушник,
Кроль — карьерист и растет на шашнях,
Маслов — контр, брат — саботажник,
И вообще — полудикий зверь.

Покуда Онисим кружился меж них,
Творя, влияя, советуя, требуя,—
Был он ключом этого ребуса,
Был. Так. Но что же теперь?

32

Он застонал. Интересы Пушторга,
А с ним и республики, ждут от него
Работы ударной, живой, огневой,
Тончайшей, как пена, твердой, как штык,
Но дело погубит эта четверка.
А он — он бессилен. Он смят. Он затих.
Но как разобраться в новых сомненьях:
Кто же теперь он — боец? Изменник?

33

Республика ищет валюту. Он же
Должен ввозить из Ангоры козу,
Сию относительную красу,
И русское золото гнать за границу.
А вместо того чтобы сделать тоньше
Стиль сортировки — он будет скупать
Рублевые шкуры копеек за пять
И также к парижскому гнать граниту...

34

И зверобой, кому невтерпеж
Вонзать уже зубы и когти и нож
В метель мохнатую, свирепую, как мамонт,
Чтоб вырвать глоток горячих ключей,
Вконец одичает от нашей бездарности.
Эй, Прометей! Тебе дано жар нести,
Ты же впадаешь в казенный регламент
Для директории мелочей...

35

Вдруг — дверь! Трое в масках.
С маузерами — у каждого два.
«Руки вверх. Ваше оружие».

Он поднял руки и сел на диван
С неощутимой нервной гримаской.
«Это не тот». Вышли. Снаружи —
Пауза... Грохот... Падение тел...
Он, подняв руки, тупо сидел.

36

Но вмиг озарило: нумеро 5.
Дип-дип ура — курье... Опять!
Ринулся! Ат, ты... Дверь отлетела:
Трое палят, отойдя за косяк...
Как развернется — рухнуло тело!
Второго за чуб о колено — крак! —
Движением тигра неуловимым...
И только третий закрылся дымом.

37

Стало неестественно легко и приятно.
Так вот она, смерть.. Но уже поутру
Он с неудовольствием очнулся в опрятной
Амбулатории. «Помог же вам бог!
Контузия сердца и обожжен бок».
Но «Reef-Rok» ревел изо всех своих труб,
Волна утоляла над пеною опыль —
В жемчужине лился Константинополь.

38

Амфитеатр райских садов,
Пиний, туй, кипарисов, эбена,
Мраморных кладбищ, небесного неба
Плыл навстречу. И Яйя-София
В струях минаретов явилась впервые
С арабским месяцем над седой
Банею зданий в кущах оливы
У лимонадного залива.

39

В белой до боли коммерческой гавани
Сутолока и дымок гаваны.
И будки менялы — дискантный раж:
Пенни, копейка, сантим и крейцер.
Букет языков. Турецкий страж
Берет на краул с жестом отчаянья
Пред мопсом каждого англичанина:
На рейде дымится британский крейсер.

40

Самые улицы — пестрый базар.
Женщины, дети и попугаи
С криками ссор, никого не пугая,
Стоя летят. Атаманские станы
Гонят коз, жарят каштаны,
В прохладе кофеен играют в зар,
Пока рисовальщик наносит профиль —
И всюду запах жженого кофе.

41

И всюду ослики. В их тени,
Забыв о казусе Апулея,
Сидят сады с гниющею сикой[1].
Медная кухня горячей мастики
На шее далмата бредет по аллее,
И лирами дремлют турецкие дни,
Перебирая тембры столетий,
И вьются галчатами сербские дети:
«Вра̀бац пи́пац,
Врабац пипац,
Да ми старац
Шрап да,
Да истером
Врабца
Пипца
Из бопца».

[1] Сика — инжир.

42

Но северный берег, отлогий и в перьях
Белых волн меж карточных дач,
Пустынен и глух. Северный берег...
Берег идиллий, берег судачеств,
Кефалей по-гречески в помидорах,
С перцем, с лимонцем, который так дорог
(Четыре парà), берег сам-друг
Желтых закатов [1] и желчных старух [2].

Но Пэра [3] с подземной железной дорогой,
С отелями под респектабельный тон,
С пассажами конфексионов — строго
Держалась на Запад. Лишь иноходец,
Нанятый вами на бирже, да стон
Хозяина, бегущего на барабанном ходе,
С отчаяньем ухватившись за хвост,—
Свидетельствуют, что курс не прост.

---

[1] ЗАКАТ

У верблюдов надменных шелудью
Алеет истертый пах;
Фелюга, которой в Хавшел идти,
Зажглась в вечерних огнях,
И закат под мраками черными
Будто в крыльях траурных стай,
Будто огромными воронами
Ощипываемый попугай.

[2] СТАРУХИ

Когда задует ноябрь,
И море всосет небосклон,
И, бочком отбегая, крабы
Зароются в зимний сон;
Когда в устрицах и пухе
Прорастет дырявый камень,—
Тогда выползают старухи,
Обросшие грибами.
С бородой, на гусиных лапах,
Под турецкими платками
Ковыляет под норд нахрапый
Их треугольный орнамент —
И в совиных глазках на веках,
Оттянутых, как губа,
Воспаленно глядит от века
Дремучая судьба.

[3] Главная улица.

43

Полинка, помнишь Константинополь?
Когда мы с тобой, чтоб мама не знала,
Ели улиток у тетки Маньо,
Которая в ситцевом кимоно
Жарила их на ведерной жаровне;
И как потом у Чертовки Петровны
Мы выгружали запас из пенала
Под радостный тсс... и паузный вопль.

44

Тогда была бездна дохлых собак,
Чем-то подобных римской волчице.
Им было за нами не лень волочиться,
И каждый пес виртуозно ловил
Из рук, из губ,— и все это с грустью,
Но жадно, да так, что торчало в зобах...
И все же, и все же я их любил
За то, что умели лаять по-русски.

45

Онисим уже не застал собак,
Но славный принцип торчанья в зобах
В Стамбуле остался. Не требуй гарантий,
Держись за карман, а кастет надень:
Аверченковские эмигранты
По-волчьи ступают на вашу тень
От звона менял до обратной погрузки
И также умеют лаять по-русски.

46

Унизанный бриллиантами город
Россыпью евразийских дорог
В беспамятстве ночи играл цветами
За ювелирными стеклами стен.
Манжеты и зубы негров витали
Без рук и лиц меж пестрых гостей.
В углу отдыхало оружье джаз-банда
И пахло сигарами и контрабандой.

47

Были здесь греки, были французы,
Англичане, американцы,
Но Полуяров, забыв о контузии,
Не отрывался от русского столика:
Там за черной гущей Востока
Средь ветхих споров о Марксе и Канте,
Отдаляя все голоса,
Сияли северные глаза.

48

Конечно, глаза — гашиш для народа,
Как буржуазнейший соловей,
И мой Аристарх (Ж. П.[1] Соловей)
В одной из лекций подобного рода
С большим аппетитом смеялся над тем,
Что все мы в плену исчерпанных тем.
«Зачем, говорит, соловьям кипятиться,
Если в природе есть Кооптица?»

49

Но я о глазах. Уверяю вас, право —
Я женский туман размотал в черту,
А ежели где-нибудь ножки черчу,
То больше из принципа равноправья.
Притом, популярностью дорожа,
Порцию vanitas vanitatum
Необходимо. Для тиража.
У меня разговор с Госиздатом.

50

Итак, вы помните, женский портрет
Романтических поэтов? Алебастровая маска.
Где волосы из золота или из ночи,
Сапфирно-изумрудно-агатовые очи,

---

[1] Жозеф Петрович.

Достойные разве только мазка
Леонардо да Винчи да Айвазовского —
И вся она тень, виденье, трепет,
Гаданье из женского воска.

51

Этого сказать о незнакомке нельзя:
Она была прехорошенький мальчик,
Одетый в пушистое женское тепло;
У ней с деловитой морщинкою лоб
В римской челке и пористых смальцах,
Немного расставленные глаза,
И, наконец, отпустил ей всевышний
Вздернутый рот, как черные вишни.

52

Я мог бы, читатель, вас угостить
Перчаткой из серебристого шелка
С пальцами, где процарапана щелка,
С черными кантами у кости,
С кисточкой, точно на ушах рыси,
С пуговицей, где отбито «Лариса»,
С запахом выдуманной весны,
Где мифология, где сны.

53

Пока на эстраде поют «кукареку»,
Я мог бы, подобно Тулуз-Лотреку,
Изобразить, как вьюгой песец
Опенивает полудетские плечики;
Порассказать о родинках или
Дать ее ножки из тех, что бродили
На полях пушкинских рукописей,—
Мог бы, конечно,— да делать нечего...

54

(Вздох.) Мне нравится кожаный чулок,
Работник женотдела с наганом и ваксой.
Хотя у ней кепи уродлив и старящ,
Зато уж она настоящий товарищ
И с ней приятно залечь в лог,
Отстреливаясь под завесой густою,
Но, извините меня,— целоваться
Предпочитаю с кинозвездою.

55

Женщины Запада, вы, буржуазки,
Глория Свенсон, Барбара ля Мар!
Пока на кино хоть копейкой владею —
К очарованию пе охладею.
Что из того, что август не март,
Что из того, что вы в пудре и краске?
Да здравствует краска, если она
На обаянье наслоена.

56

Нет, революция не с тем, кто требует
Преданно славить наше отрепье,
Не с теми, кто хочет поднять на щиты
Социализм нищеты:
Ведь лучше плетня резная ограда
И выше раешника звонкий сонет —
Не притупляй у пролетариата
Жажды того, чего у нас нет.

57

Евгений Ней обмолвился как-то:
«Мы рождены, мол, давайте жить».
Он прав. Не во имя ли этого факта
В истории вспыхивали мятежи?
Жить! Но не вечной вонью военщины,

Жить иногда хотя бы и с женщиной...
Но этого я не посмею сказать,
Иначе несдобровать!

58

Да, да. Я робок, точно овца.
И ежели критики спросят случайно:
Не произнес ли автор словца,
Похожего на писателя ЖИТЬца?
Прошу вас, читатель, при всех побожиться,
Что нет и нет. И кто бы за чаем
Контрреволюцией вас ни корил —
Так и скажите: мол, не говорил.

Федор Житц Житц Жить!
Федор Ф Фитаха! Житц
Чижик-пыжик будь ты птицей
Не летай ты кверху житцей
Теодор Т.

59

Скажу лишь одно: если б сторож Архип
Надел на Венеру платье плиссе
С фестоном в оранжевой полосе
И пенистым шу на коленях по кругу —
Она б на фокстротах зевала в руку:
Перси и лядви сданы в архив,
И архибожественная жена
Просто немодно теперь сложена.

60

Иное дело моя незнакомка.
Когда в объятиях заматерелых
Под бац и цокот цимбальных тарелок
Она выводила лисью тропу [1],
Завидя осевший бретель ее — пусть!

---

[1] Фокстрот — буквально «лисий шаг».

Жест ее, синкопически ломкий,
Грацию чарльстонущих ног —
Сам Фидий схватил бы ваяльный клинок.

61

Онисим глядел напряженно, силясь
Опьянить ее без вина...
«Хочу, чтобы эта была Она!
Хочу, чтоб орбиты чуть-чуть скосились,
И чтоб на минуту в толпе возник
Абсолютно точный двойник».

62

Онисим вспомнил про письмецо,
Подписанное «А. К.».
Это, конечно, она писала.
Он тут же увидел ее лицо
В дымке эстрадно-ресторанного пейзажа.
Какой-то дядька, хромая слегка,
Ведет ее к самой средине рая,
От нежного запаха кос обмирая.

63

Саша... И всплыли теплые строки:
«Не обижайтесь, милый, на Льва.
Он также, поверьте, достоин участья.
Вдумайтесь только: в чем его счастье?
А ВЫ — ваша ясная голова
Найдет и без Кроля пути-дороги;
Свет, родной мой, не всюду черен,
Хоть Вам и кажется, что Вы Печорин».

64

Ласковая золотая лисица,
Ступивши на камень, лакает синь.
Над ней осыпаются рощи осин,

И модная шубка ее колосится.
Но вдруг, замерев над водой голубой,
Снова струится в лес голосистый,
Душная, как безнадежная любовь,
Нарядная, как женщина, лисица.

Коктебель
VI. 1927

ГЛАВА XI

По раздолью он, уклюжий,
Со снежком балуется,
Доваландается к луже,
На себя любуется.

1

Кроль счастлив! Британский солист
Сэр Чемберлен посвятил нам ноту,
Если не очень похожую на оду,
То в области фальши с нею о бок
Ученый кот семьи «твердолобых»,
Отряхнув лапки о гербовый лист,
За судейскую цепь выдавая ошейник,
Отказывал нам в торговых сношеньях.

2

Остя неумолим, как танк.
В момент забастовки горнорабочих,
Когда, чтоб заткнуть торговый изъян,
Он двинул в шахты парк обезьян,
И те разбежались — в одной из бочек
Был найден главный орангутанг,
Который, представясь полиции видов,
Вдруг оказался критик Левидов.

3

И здесь Коминтерн! Под грозный рявк,
Заказы на уголь почти растеряв
И тем возродивши Силезию, Бельгию,
В Лиге спев сентиментальную элегию:
«Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля»

(От которой повернулись румын и поляк),
На крыше политики любитель романса
Затянул арию кота из Ламанча.

4

И русские мельницы (которые к тому ж,
Имея в Париже агентуру — «Мулен-Руж» [1],
Мерещились красным империализмом),
Русские мельницы, жуя понемногу,
Глазели по прибывающим письмам,
Как в колоратуре возмущенных икот
Хвостатый и черный дон-кхе-Кот
В цилиндре и монокле перебегал дорогу.

5

А Кроль был счастлив. Центросоюз,
Связанный с Англией сотнями уз —
Планами, товарами, кредитами, деньгами,
На всем ходу меняя свой курс,
Терпел убытки. Парижский «La bourse»
Писал, что чемберленовский штрих
Не только России ногти остриг:
Сезон упускал деньки за деньками.

6

А Кроль счастлив. Его восторг,
Растущий на том, что при нем Пушторг
Почти оторвался от Англии и Штатов
И, значит, козырь Онисима бит —
Дошел даже до расширения штатов.
Сейчас он герой. Полуяров забыт.
Мы ждем повышенья! И правда — не кстати ль,
Цека! Архитектор! Зав! Председатель!

---

[1] «Мулен-Руж» — буквальный перевод: «Красная мельница», одно из буржуазных увеселительных заведений Парижа.

7

Вот он сидит с женою в такси,
Капризничая от счастливой тоски,
И тараторит. Ах, если б в Аткарске
Могли его видеть Рубинчик и Барский,
Эти несчастные часовщики.
Там помнят его золотушным мальчишкой —
И вдруг он в упитанном лоске щеки,
Будто жилет из химической чистки.

8

Кроль это Кроль. Не во всех умах
Имеется министерский размах;
И, не обладая позой Атланта,
Можно играть бриллиантом таланта.
Никто ж не предвидел. Они из лени
Только с Британией вели оборот,
Но надо же помнить заветы Ленина,
Ибо сказано: «Выше и вперед!»

9

На самом любимом пункте оратора
Такси застопорило у театра.
Кроль расплатился, помог сойти,
И с самой серьезной походкой Макса Линдера
С лирикой мокрого от блеска цилиндра
(Которого не было) в крик «Осади!» —
Стал подниматься. Сияло синим:
Давали «Любовь к трем апельсинам».

10

Оркестр районною фабрикой звуков
В сто человек среди нот и бук'в,
Весь перетянутый струнной проводкой,
Теплел в паровых золотистых трубах,
С клапанами деревянных трубок,

С кухнею медных тарелок в конце.
На бархате ложи программа. Ах, вот как —
Оказывается, сперва концерт.

11

Двух вещей Лев Семеныч не выносил:
Во-первых, мертвецов и, во-вторых, музыки.
Надменно-мудрый игнорирующий труп
И патетический звон труб
Его приплющивали. Маленький, узенький,
Усвоивший истину трех осин,
Он опасался, что вдруг без акциза
Может явиться тень скептицизма.

12

Покуда настраивали — гудки,
Различной пронзительности, по зале
Картавые трели свои описали
Фиоритурой. Густое и дикое
Жужжало литье басовых ключей;
Горячий удар отскакивал в пальцы,
И вдруг смолкло — и в хаосе паузы
Эоловая виолончель.

В хаосе паузы виолончель
В паузе хаоса виолончель,
В хаосе паузы
В паузе хаоса
В паосе виолон —
Хаузы-чель?

13

Он зарыдал, коричневый шкап,
Как плакал, бывало, вершинами хвой,
По деке жужжала баранья кишка
И нервничал конский хвост.
Но забудь календарь, вчера и завтра —

Вглядись в него с иного угла:
Это тело сидящего плезиозавра
С завитками раковин глаз,

14

Он мычит концерты Брага и Бруха,
Ныряет в свой восьмистрочный лад —
И в прорезь морских коньков на брюхе,
Сквозь тяжкую дрожь газированных жил,
Жужжащих, как рельсы; тональных пружин
Археоптериксного [1] колена;
Фуриозных вибраций, помпезных рулад —
Катастрофой обваливается вселенная.

15

Вот почему, симулируя кашель
И сунув три апельсина Саше,
Кроль укатил. Он больше не мог,
Но если б на паперти выждал немного,
Он увидал бы знакомый мох
Жениных ботик и нечто двуногое.
Скрыв лицо от метели, оно
Об руку с Сашей мчится в кино.

16

Но Кроль уехал. «Что ей во мне?»
Он знал, что Саша не претендовала
На его время. Он не кутил,
Но не терпел над собой удил,
Мехами кормил жену до отвала
И полагал, что в звоне монет —
Золотой смех истинных женщин,
Как бы ни воспевал их Шеншин.

---

[1] Археоптерикс — первая птица на земле.

17

Нет, Лев Семеныч отнюдь не робок:
Он не боялся измены жены.
Где? За какими такими полями
Найдет она мужа с его соболями?
Тут уже струны обнажены.
К тому же Кроль неплохой семьянин:
Сынишке он строил дредноут из пробок
И просто рыдал, когда тот семенил.

18

Маленький Алик звался — Леваль:
(Папаша Лев, а мать — Александра),
Мордаха его такова: овал...
А впрочем, стоит ли? Вырастет — изменится.
Он рос на сахаре да на вареньице
(Благо у мамы дома хандра),
Самый свободный по времени сон,
Зато хорошенько вычищен нос.

19

Впрочем, считалось, что воспитанье
Он получает вполне современное:
Отменены углы и ременья,
От папы получен широкий мандат
На часы, ножницы, том «Капитала».
И Алик усвоил властное — «дать!».
И рос и рос — и теперь на свете
Ждут своей участи звезды и ветер.

20

Но я не в претензии. Кто знает, как,
По каким методам, по каким нормам
И, главное, чем, каким еще кормом
Следует питать социального снедка?
Нужны ли какие-нибудь жалюзи,

Режим какой-либо в школе и дома —
Если от крови лошадиной железы
Из акселотля растет амблистома?

21

Увы, вопрос этот рано решать,
О нем нельзя рассуждать идейно,
Тем более ежели наша душа
Только и есть что теория Эйнштейна.
Кого же избрать образцом и премьером?
Да вот далеко ль идти за примером:
Ведь это же поразительно: стих
Строится на относительностях.

22

Это «советская октина», которой
Написан читаемый нами роман.
Взгляните — у каждой по восьми строк,
Но каждой присущ свой особый строй,
Особый пульс стихового мотора,
Неповторимый свой аромат —
И хоть элементов, как видите, восемь,
Но всех вариаций не перевозим.

23

Иная на зависть всему ПУШТОРГУ
Вдруг расфуфырится этакой кодой,
Хотя бы в тридцать названий зверей —
Вырвется сплав, горящ и свиреп,
И бронзой остынет — ну чем не ода?
Иная ж едва доползет до шестерки
И дальше ни-ни — мол, не мучьте меня.
Уж очень, должно быть, бедняжка скромна.

24

А в юные годы я очень любил
Чеканную форму. Бывало, кобыл
Таким гекзаметром запузырю,

Что сам Лев Львович, словесник мой,
Переживать убегал домой.
Теперь же я верен зеленому сыру,
И вы, молодые поэты, с меня
Пример берите, повременя.

25

Однажды в таком-то году в Париже
Два художника, лысый и рыжий,
Увидели вещи Сезанна. Голый
«Мальчик» стоял, но рисунок косил,
«Яблоки» оползали без сил...
И вот появилась новая школа
И множество бархатных блуз да грив —
Сезанн же был просто-напросто крив.

26

Но все ж я, признаться, коллекционер —
Люблю раритеты и безделушки;
В этом смысле я истинный Плюшкин,
И хлам у меня найдется любой:
Античное «О», даже «кровь — любовь»
Вплоть до нежности — честное слово,
Так хватит ли в сердце чего-либо злого
Стричь октавы по лекции? Нет.

27

Нет, «покровительствовать — по крови»,
Девственность мэтра синкопой рви!
О, диссонанс и разноударник,
Вы, прыжки с шестых этажей.
Пусть говорят о вас: «Это жест» —
В этом естественный щит бездарных,
Круглых, как Житц, и красных, как мак,
Почетных, потомственных непонимак,

28

О, мы знакомы! В эпоху плеяд
Не вы ли жабами капали яд,
Не вы ли вопили: «безвкусица, фи!»
Не вашей ли желчью оплеван Некрасов?
Вы попугаям бальмонтовских красок
Свистали и требовали разграфить,
Вы Маяковского крыли матом,
Есенину выставили ультиматум.

29

Но что это? Кроль побледнел. В лихорадке
Упал на стул. Задрожала икра.
Ужели разгневанная игра
Пера моего его потрясает?
Ужели я плохо продумал характер?
Ужели мой белонегрый красавец
Принял филиппику на себя?
О, если бы
В Кроле ошибся бы я!

30

Но нет. Рисунок по общей канве
Я вычертил верный. Над черной шкатулкой
С японской мимозой и музыкой гулкой
Нервно прыгающая рука
Еще расправляла белый конверт,
Где в самое сердце запекся корнями
До боли знакомый орлистый орнамент:
«Милый мой Икс!» и подпись: «А. К.».

Коктебель
VI. 1927

Рисунок быка.

ГЛАВА XII

Я тебя, точно конюх, выхаживал,
  О, твои стати.
Твою гриву гнедую — заживо
Полоскал под аортой: «Блистайте!»
Как жокей, я тебя проманежил
  Хлыстом и ложью,
Я лелеял тебя, мою нежную,
Породистую, точно лошадь.
И когда ты вошла в свое тело,
В поступь сытых красавиц —
  Странное дело —
Я почувствовал желчь и зависть,
Что не мне истоки колодца —
Твоя юность в веснушках и хохоте,
Что не мне, не мне довелось уколоться
  О ключицы твои и локти.

1

В Пушторге сенсация — Кроля супруга,
Наслушавшись Сарасате и Бруха,
Ушла от мужа, а он, несчастный,
Буквально перья из головы.
Нет, вы подумайте. Этого мало:
Знаете, кто здесь герой романа?
Ну отгадайте. Как будто бы ясно —
Скажете, Полуяров? Увы...

2

Саввич! Не ожидали? Хи!
Вы были от этого далеки,
Не менее Кроля. Свирепая ярь его
Скорей примирилась бы на Полуярове —
Все-таки марка. Все же не зря.
А тут — гимназист. На губах молочишко.
Его, е-го... замещает мальчишка
(Он чуть не сказал — десятый разряд).

3

Кроль бесновался, патлатенький, обрубленький;
На кончике носа сидело окно...
«Она с ним ходила по всем кино
И, наверно, жила. Наверно, наверно —
Я говорю совершенно уверенно.
(Из горла брехнулся собачий лай.)
Саввич. Заведующий крысами республики.
Ха. Позор. Божже мой. Айяяй».

4

Гуров печально прихлебывал кофе.
Посреди комнаты зеленый сундук
И обитый никелем красный кофр
Укладывались полдюжиной рук:
Блох, Поповский да Настя старались;
Дамские сорочки, трико, халат,
Лифчики, блузки, даже анализ —
Все отправлялось на Пушной Склад.

5

Ну-ну, пускай придет за вещами.
Ушла в одном ситце — старик-де пришлет;
Он очень извиняется, но сердце его лед.
Кроме того, инструктор Казаров
Командирован Отделом Товаров
Сегодня в Аткарск со всех своих ног,
А с ним на родину Кроля сынок.
(В жилете грозное чревовещанье.)

6

Третий

7

(Простите — сейчас объясню:
В Крыму происходят землетрясенья,
И мне ночами по нескольку раз

Приходится, прервав рассказ,
Мчаться на пляж подальше от сени
Раскидистых зданий, подобных сну,
Где в черепицах дрожание нитей,
А женщины — точно рай на Таити.

8

Сначала вы чувствуете ветерок,
Подобный а̀уре эпилепсии,
И на лице вдруг, без причины,
Ощущение паутины.
Но через паузу — подземный грох,
Дождь известки, скулящие псы,
Ущелья, где эхо громов прокатилось,
И тайная грусть, что все прекратилось.

9

Но самое страшное — голос часов,
Открывших торжественный бой по ночи,
Будто чей-то вещий зов
С обрызганных стеарином страниц.
Десять, двенадцать, семнадцать, двадцать...
И вы начинаете издеваться
И даже хохочете — на одной ноте,
На той же басовой ноте струны.)

10

Третий день, как Саша у Саввича.
Но неизменно, проснувшись рано,
Думала с сердцебиением душным —
Что Кроль? Как он там с ужином?
Помнит ли, что на аптечном шкафчике
Синяя миска с холодной бараниной,
Ключ за рамою корабля,
Молочнице долгу — четыре рубля?

11

Затем разобрала письма домашних.
Вот, например, хоть это, от брата:
«Дура, скорей возвращайся обратно,
Подумай о маме». Отец писал:
«Умереть бы мне легче, чем слышать о шашнях
Единственной дочери. А этого пса...»
И наконец роковая депеша:
«Бывший дядя Андрей Бекешин».

12

Но пес был чуток. Сей телеграммы
Бедный Павел ни в жисть не простит.
Он себя чувствовал гнусным убийцей:
Как он смел, как смел он влюбиться?
Обречь ее плечи всей этой драме.
И он, чтоб загладить горечь обид,
Играл в барам-бук и плакал: «Засмейся ж».
Так начинался медовый месяц.

13

Сегодня Павел ушел в Пушторг,
И Саша могла наплакаться вволю:
«Я, господа, никого не неволю —
Позвольте и мне прожить, как хочу,
Маленькой радостью собственных чувств.
К чему же весь этот родственный торг?
Вам-то от этого что на свете?»
Но гардероб ничего не ответил.

14

Это успокоило. Саша встает,
Берется за трубку: «Замоскворечье.
Один — семнадцать. Нюша? Да-да.
Спасибо, родная, да, как всегда.
Что Алик? Не слышу. Как? Резче...

Ну... Ну... Что ты, что т...
В Аткарск? Одного? На весну и лето?
Скажи ему, Нюша, что это, что это...»

15

Шхуна в персях с пышной осадью,
С маленьким яликом где-то сзади
На райский берег плавно плывет
Зеленой луною полночных вод.
И вдруг с петли обрывается тузик,
И шхуна бьется, дрожа от контузий:
Не надо ей рая — в чистилище, в ад —
Лишь был бы туз, как минуту назад.

16

Что же теперь делать? Вечером поезд,
А в доме ни гроша. Занять, но где?
Гуров? Еще бы. Картышев разве?
Нет, неудобно. Тогда у Тарасовой.
Но нужно поведать ей всю эту повесть.
Нет, надо искать идей
В стране объявлений. И шесть газет
Она обыскала от «а» до «зет».

17

За два дня, как за жизнь, отведав
Сонную желчь напряженных бессилий,
Страшась не найти в газетах ответов,
Будто в этом ответе рок,
Саша почувствовала ветерок,
Подобный а́уре эпилепси́и,
И на лице неотвязное типы
Ощущение паутины.

18

И чудо пришло. Канюля (литая)
Вводится в вену донору. Кран
Сперва открывается в сторону ран,

Пятидесятиграммовый шприц глотает,
Кровь отсасывается, потом
Вена стягивается бинтом.
Закон Мосса. Техника Эллекера.
Плата сорок и помощь лекаря.

19

(Алло! Для сохраненья здоровья
Моих обожаемых непонимак
Даю комментарий: в единый мах
Я описал трансфузию крови.
И точка. Ясно? Саша Кроль
За сорок рублей продала свою кровь.
Ну, вот и считайте: двадцать билет,
Десять — гостиница, десять — обед).

20

В Пушторге под черным багетом Ленина
Висело следующее объявленье:
«Уволены за сокращением штатов —
По бухгалтерии: Зайцев
Ардатов.
По прочим отделам: Саввич».
Снизу
Жирными росчерками, точно масло,
В первый раз *без директорской визы*
Подписи завов: *Меморский*,
Маслов.

21

Как дух мертвеца, на свежей плите
Читающий собственную эпитафию,
Зайчиной, висящей над жареным зайцем,
Имя свое изучает Зайцев.
Образ Музы его облетел,
Не выйдут сегодня стихи о Батавии.
Бедный Заинька, милый ты мой,
Как-то ты явишься нынче домой...

22

Вдобавок навстречу Ольга Петровна.
Она без ума и впервые не сердится:
Кроль предложил ей руку и сердце,
Узнав, что она ежедневно цветы.
(Увидав Зайцева): «Ах, это ты?»
(Взглянувши на список. Весьма хладнокровно):
«Пиф-паф, ой-ой-ой,
Умирает Зайчик мой?»

23

«Заяц» улыбнулся. Улыбнулся, как заяц,
Обнажив печаль своих скучных зубов.
Вы можете пить беспробудно в запой,
Выть, в подбородок ногти вонзая,
Гончими стаями зайца забить —
Но этой улыбки вам не забыть:
От нее хочется плакать в подушки,
Отдать себя всю до последней полушки.

24

Он сразу сделался близок и дорог.
У Оленьки задрожал подбородок
И стал на секунду пористой губкой:
«Знаете что? Женитесь на мне!
Я получаю сорок монет».
Взгляд был ясен. Он даже просил.
А Зайцев... (О! запятайчики, губки...)
Затаил счастье изо всех сил.

25

Жить! С ней! Подумайте: с ней!
Нос моментально покраснел
И стал совсем похожим на тетю.
Он (не нос, а Зайцев) прошел
К телефону четыре — шестнадцать напротив

И вдруг заревел, как веселый осел:
«Бюро обслуживанья? Взвесьте:
Что на свете лучше невесты?»

26

Простимся же, Зайцев, на этом месте
В счастливейший миг твоего бытия.
Оленька. Дай обниму и тебя —
Немало страниц отмахали мы вместе.
Ну что ж — забирайте рифмы свои,
Свои номера и прочие вещи.
Будьте счастливы. Так в благовещенье
Выпускаются соловьи.

27

Позвольте, читатель, маленький тост:
Этот бокал золотистых лучей
Я подымаю за тех, кто прост,
Кто незаметен, кого не учесть,
Кто в наших поэмах имен не на́жил,
Но ельником тянется по бокам.
За третьих, четвертых, седьмых персонажей
Я подымаю этот бокал.

28

Их не цитируют, ими не машут.
Тихо и чинно служат они
В тайноцветистой глазурной тени.
И только случайно, какой-нибудь Машей
Вдруг отогретые всем естеством,
Они заиграют, как вешние блики,
Единолицые личики, лики,
Своей светотенью залившие ствол.

29

Так сквозь сложнейшую ткань ораторий
В патетической паузе на вскинутых крыльях
Какой-нибудь голубоватенький лирик,

Играющий пасторальные вторы,—
Вдруг кровиночкой сердце проймет,
И слаще сладкого пресный мед
Исконных и примитивных трелей
Хрестоматийной его свирели.

30

Лизни эти строки: ты чувствуешь соль?
Это я сладко плакал над ними,
Целуя неведомое его имя,
Покуда не стал угрожать мозоль
И опухоли горловых миндалин —
Я, знаете, с детства сентиментален.
Ах, так? Вы считаете все это фальшью?
Всуньте язык. Едемте дальше.

31

Саввич Гурову: «Ты — делегат,
А служишь только высоким окладам.
И вместо того чтобы нас оградить,
Ты позволяешь меня сократить».
Окинув своим офицерским взглядом
Густеющий на мизинце агат,
Гуров ответил истинной лярвой:
«Но ты же ведзь ставленник Полуярова».

32

Саввич другого терзал делегата:
«Как вы могли допустить это хамство?
Как вы могли, отвечайте же, ну.
Да, я отбил у Кроля жену.
Но вы чем обязаны лить елей
Мести на рану супруга? Что вам с того?»
Блох: «Я скажу из библейской Агады —
Я кушать хотел — мне бог повелел».

33

Саввич осматривался. Он искал
Хоть бы сочувствующего взгляда.
Любили ж они — имеючи жен.
Но нет — он сразу стал им чужой.
Как, сговорившись, без страсти и яда,
Они перед ним обнажили оскал,
Ревниво свершая служебные мессы.
Смысл жизни — держаться за место.

34

Кто он для них? Авантюрный труженик,
Мерзлое мясо биржи труда.
Он от судьбы получил свой удар
И списан со счета. А они живы.
И Саввич вспомнил до ужаса живо,
Что точно так же смотрела Война
На раненых в поле. Вся их вина
В том, что попали в список ненужных.

35

Ненужен. Как оскорбительно это!
Он посмотрел на дверь кабинета:
О, этот нужен. Незаменим.
Общество держится им одним,
Истерикой подменивши энергию,
Сегодня Пушторг, завтра в Америку —
Грудью стоит жилетка из роз
На страже рабочих. (О, где ты, Гросс!)

36

Но Пашка... Пашку этим не взять.
Он к прокурору! В приемной девица,
Длиною с версту, надписала «сто пять»
И вошла в кабинет. И наверно, для визы.
Пашка сел. Пашка встал. Пашка сел. Пашка
встал.

Пашка сел. Наконец появилась Верста.
Пашка встал. На бумаге сбоку висел
Изумительный росчерк: «Вернуть». Пашка сел.

37

Фемида с весами — дама в летах.
Ах, годы, ох, годы и Ле́та, ах.
Для женщины, будь она даже богиней,
Годы — чума и присно и ныне.
Еще так недавно, развея власы,
Она Немезидой летала по весям —
Теперь же богиня, отбросив весы,
Бывает просто особой с весом.

38

Газетный поэт Стопроцентов прослушал,
Развесив портретами умные уши,
И взялся за трубку: «Алло. Пушторг?
Стопроцентов по делу Саввича. Что?
У телефона? Ага, догадались?
/—́/ /—́/ /—́/ Так.
/—́/ Ясно. /—́/ Пустяк.
Режим экономии «über alles».

39

Ответственный секретарь ячейки
Товарищ Петрова ответила так:
«Это, видишь ли, дело пятак,
Ну, я подыму, ну а дальше? Сумей-ка
Еще доказать, что ты нужен для дела,
Раз за директора весь коллектив.
Может, Кроль подозрительный тип,
Может, ты прав — да пятак это дело»,

40

На улице послышался каретный звон,
Когда из кабинета вышел Чацкий,
Заложив руки за́ спину. Кроль

Выскочил вслед, как испуганный крол,
С алой, вплющенной в щеку перчаткой
И, вздувши на шее какую-то завязь,
Орал вдогонку: «Подлец! Мерзавец!
Сию же секунду из кабинета вон!»

41

Пашка вынул карманный блокнот
И выписал срочно расходный ордер:
«Отпущено Кролю кило по морде»,
После чего, взглянув на окно,
Прошипев речь, столь же блестящую,
Сколько и матовую,— айда на дачу.
«Товарищи, плюхи надо изжить!» —
Подумал Саввич и крикнул: «Жить!!»

42

Он вспомнил письмо товарища Мэка,
Юпитера этого в мире меха:
«...б) Кроля считать, как врид,
в) Поставить студенту на вид
В отношенье наук немарксистский модус —
А в заключенье: да здравствует молодость,
Такой-сякой молодой человек».
Мэк! Мэк! Дорогой Мэк!

43

Пашка летел домой. Автóбус
Наматывал улицы в четыре колеса.
На каждой станции Пашка вылезал,
До того торопился. Вконец угробясь,
С глазами, синими, точно берилл,
Пашка гаркнул еще с перил:
«Алло. Алло. Не менее, не более —
Ночка Бессонная выходит за Кроля».

44

Увы, он вернулся домой, когда
Жена с забинтованными плечами
Уже отъезжала. Записка. С печалью...
...Алик. Какой еще Алик? Ах да,
Так-та́к. Он знал, он предвидел заране.
И вдруг вздрогнул: в комнате гость.
В медвежьей дохе, огромный, как стог,
Седой, как луна, восседал зырянин.

45

«Онисим Кондратьич?» Они обнялись.
«Мне рассказали о вашей истории.
Но не волнуйтесь — право, не стоит.
Лучше внушите вы своей паве,
Что Кроль велик, но и мы не нули-с.
Я вас устрою в Госторге». Но Павел
Ответил раздумчиво, как неврастеник:
«А где же Саша достала денег...»

46

Он сбегал к соседке. Вернувшись с отдышкой
С мыслью, которая разможжена...
«Она продала, понимаешь, она...»
Схватил было нож со стола, но бросил
И выбежал. Гость огромно сидел,
И комнатка в нем колотилась крышкой.
А он... А он жевал папиросы
И медленно на глазах седел.

47

Зачем он вернулся в Москву из Стамбула?

Коктебель
VIII

ГЛАВА XIII, в сущности последняя

Отчего ты умрети?

Летопись XII в.

1

Выбирали в Совет. Стояла весна —
Без номера, в бурных дрожьях.
Скворешни висят мандолиной. Возня.
Скворцы трещат деревяннее ложек.
В реке еще леденеет дыра,
Но в учреждениях — щебет и щелки,
Там соловьями летят ордера
На взятие Крыма и Волги.

2

Выбирали весну. Весна, весна.
Но какая весна, Алешша! [1]
Знамена пьянят. Москва тесна.
Петух разрывает жемчужные ядра,
Поддерживая голос предыдущего оратора.
Но глянь-ка сюда, под этот забор:
Всех громче весну знаменует собой
Торжественно выброшенная галоша.

3

За черным валом черный вал,
Пляшет по улицам карнавал
«Красного сахара», «Резинотреста».

---

[1] Алешша — выражение восторга, ничего общего с Алексеями не имеющее.

Галоша в воде ухмыльнулась до треска:
«Хотя, увы, я галошею рваной
В луже пока принимаю ванны,—
Но не подумай, что мне капут:
По три с полтиной пойду за пуд».

4

Рябо́й из Бара́бы, бранный
Старый барабанщик
Перебарабанил
Барабарабанчик,
    И стаккато
    Кастаньеты,
    Как караты,
    Вдруг по льду,
    И корнет-а-пистон
Издает истошный стон,
И — дуду — дудуют дудки:
Дудль — дудль
    Дудль
    Ду.

5

И средь этого треска —
Динь-дилинь, день-делень —
Профсоюзного оркестра
(А уж день-то, а уж день!),
Над пожаарной командой —
Динь-дилинь, день-делень —
Чучелом валандается
Сэр Чемберлен.

6

За черным валом черный вал,
Пляшет по улицам карнавал,
Кратером разверзся блузный круг —
Рабочие истово несут хоругвь:

Щеки обвисли,
Ноги как «икс» —
Болтается на виселице
Мистер Хикс.

7

А в автомобиле катит пантомима:
Английская блуза с трубкой в зубах
Держит за шиворот того же Чемберлена.
То рыжий, то лысый с манишкой по колено,
Чемберлен повсюду. Проносятся мимо.
Радио вещают о грядущих боях:
«Не стращай про диво
Газы,
Если есть противо-
газы».

8

В гирляндах и флагах локомотив,
Сизый, но с медной звездой под трубою,
Улицу завоевывал с бою.
Он двигался, оглушая народ
Своею струей, металлически ковкой,
Задерживаясь под беспечный мотив:
«Наш паровоз летит вперед,
В коммуне останов-ка».

9

Студент, наряженный У Пэй-фу,
На плахе бодается с Чжан Цзо-лином.
Опять Чемберлен, страдающий сплином:
«Господин Стерлингов, имя — Фунт».
Шахматный клуб на томе «Истмат»
Несет короля, одетого шахом —
«Октябрь поставил буржуя под шахом —
Мировая революция объявит мат!»

10

Тут и там, оцепивши кружок,
Деревообделочницы и стеклодувы
Вприсядку, с платочком, эх, горой бы раздуй его,
Устраивали деревенский жок.
Растягивались гусеницей алые меха
Баяна ли, тальяночки про плуг, лемеха,
Про заводы, про лиманы,
Про сапожки-колыманы.
«Сапоги-колыманы
На воде пойманы,
Стужены-морожены,
Стукают, что кожены».

11

Акуловая тень аэропланов. У панели
Роты комсомольцев, печатая, пели,
«О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные»,
«Вы жертвою пали в борьбе роковой»,
«Ве-ди ж, Буденный, нас смелее в бой»,
«Любвий беззаветной к народу»,
«Так за Совет, за светлую свободу

12

Мы грянем дру́жно́е у́ра́...»,
«Да здравствуют Ленин и Калинин. Да здра...»,
«...вствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-ло́м-ло?м».
Сыпь, гармошка,
Напролом:
Сапоги-колы́ма́ны
На воде пойма́ны,
Сту́жены-моро́жены́,
Стукают, что кожены.
Тула-Тула-Тула-я,
Тула, родина моя.

Эх, вы, кони, наши кони,
Обгоните старину!
Едут конюхи на пленум
К товарищу Сталину.
Тула-Тула-первернула,
Назад козырем пошла.
Шиш, шиш, шевелись,
В шубе вши завелись —
Чемберлена бы позвать,
Чтобы вшей перетаскать.
Эх, Тула же ты, Тула,
Тула — родина моя.
Как ни ухни, кума,
Как ни эхни, кума,
Я не с кухни, кума —
Я из техникума!
Тула-Тула-Тула-Тула,
Тула-Тула-Тула-я.
За черным валом черный вал —
Пляшет по улицам карнавал!!

13

Онисим шагал. Народная мистерия,
Разыгрывающаяся пред ним,
Как вешний вихрь Белого моря,
Звала, окликала с собой в Поморье —
И в нем прорывался, бурей томим,
Сухой хохоток, да не истерики,
А тот, что бывает, когда сплеча
Несут о лихости силача.

14

Нет, здорово. Грудь, истеки
Всей своей горечью и обидой.
Что из того, что, от жизни отбитый,
Он не нашел угла в этом доме?
Жизнь огромна — и он ей не суд.
Нет, хорошо. А Кроль — пустяки:
В царское время он был анатомией,
Теперь он патология, и в этом суть.

15

Он все простил. Даже «знамя — пламя».
Он занял дупло одного из рядов
И зашагал. Его ноздри пылали,
Он гордо пел под топот рот,
Как возбуждающе шелк полощет
Над ним, за ним, у любых ворот!
Еще поворот — и покажется площадь...
Но тут парень, по-лисьи рудой,

16

С минуту смотрит на серый драп,
Сизый пух итальянской шляпы,
Лицо напоминающее чем-то Шаляпина,
И вдруг подходит: «Вы, гражданин,
Отсюда, пожалуйста, дайте драп:
Мы тут все с одного завода».
Полуярова вмиг одолела зевота:
Восторг и скука вдвоем рождены.

17

Закапал дождик. Куда-то упялясь,
Онисим шагал, соблюдая ряд.
«Гражданин, слышь ты, ва́м говорят».
Гончие в сердце звонче зашлись...
И вдруг в плече он почувствовал палец,
Пронзивший, точно укус лис.
Глянул на буйство вихрей клокастых —
И лопнул на горле сиреневый галстух.

18

Кажется, у Саввича висел мотив:
Ночь. В снегу освещенные окна.
Пестрая будка — должно быть, пост.
Лихо скалясь, молоденький пес,
Клокастый букетище свой закрутив

И собственною отвагой растроганный,
Лает на волка. Угрюмый бирюк
Слышит в нем запах железа и рук.

19

Тула, Тула, Тула, Тула,
Тула, Тула, Тула-я...
Уж я чайничала,
Да не миндальничала:
Макдональду приглашала —
Ведь не дальний чай, а?

20

Куда идти? Не все ли равно?
Длинное серое унылое длинное...
В небе грохочет пророк Илия...
Роскошный фильм «Голубой брильянт»
С участьем Ларисы Гетье... На плакате
Вы даже в сплине узнаете платье,
Сменившее как-то листок отрывной
Фокстротной Венере. Даже при сплине.

21

Нетрудно найти, поднявши веки,
В картонной короне под гранями Веги
Немного расставленные глаза
И вздернутый рот, как черные вишни,
И вспомнить кафе и яркий базар,
И что же? По-прежнему неподвижны,
Вы сивый пепел стряхнете б пол,
Так и не вспомнив Константинополь.

22

Не все ли равно? Вы сонно пройдете...
Бульвар. Трава. По-латыни — Hébra,
При чем тут латынь? Пушная верба

Напомнила бы любимого зверя.
Но не теперь. Теперь вы бредете,
С часами Арбата руки не сверя,
И слышите кухню вешних кулис,
И в вашей душе опадает лист.
Мой муж коммунист,
При ем два портофеля —
В одном письма от меня,
В другом пуд картофеля.
Тула, Тула, Тула, я,
Тула, родина моя.

23

Вы сядете, этого не заметив,
Оциферблаченный барабан
Покажет... А впрочем — мало ли, много ль?
Какая разница... Бронзовый Гоголь
Подскажет вам позу, и красною медью
Ваша печальная выя раба
Склонится, точно держа камень,
Над серебристыми с синим носками.

24

И открывается новый мирок
Песка, мурашей, обгорелых спичек
Вокруг ваших двух броненосцев бычьих
С холмом над соля́ми главного пальца,
С круга́ми, где пущен канатный шнурок;
Но вашему взору случайно попался
Разбитый пузырь школьных чернил —
И мрак ваших пальцев его очернил.

25

Но склянка глубоко ушла под ладонь,
Венозная ветвь голубого коралла
Раскрыла детские губы. Вяло
Капнула черная капля в песок.
И в правую руку вошел пузырек,

И капля, сверкнувши, как золотой
Вспышкой, зажгла последнюю нить:
Не лучше ли мне живому пожить?

26

Дети пищали в восторге игры...
Слепец продавал цветные шары.
Пронесся рысак в ярко-желтых оглоблях.
Жук взошел на рукав пиджака.
Но господи! Вдруг сутулость жука
Выросла в кролевский облик!
Онисим слегка застонал — и взмыла
Жажда смерти, как щетки и мыла.

27

Как зубной пасты. Он стал выжимать
Из тюбика пульса черные сгустки.
Традиционно вспомнилась мать,
Детские боги таежной Тунгузки,
Битого лося двуструнный мык —
Но бледно, надуманно. О, в этот миг
Он, равнодушно веря в геенну,
Бредил душевною гигиеной.

28

Он был чистоплотен. Ребенок, напротив,
Сначала дочерна побагровел,
Потом вернулся до светлых кровей
И стал зеленеть, краснеть, голубеть,
Как эти деревья, как пух голубей,
Как этого шара ижицей ротик...
На свежем бульваре, осклабив оскал,
Храпел мужчина в красных носках.

29

Отрезали голову, бросили в бак,
Где с кровью мешался раствор формалина;
А тело с клеткой, вздымающей Альпы,

Освежевал хирургический скальпель.
Профессор, играя накладками бак,
Вынул огромной лиловой малиной
Сердце. Студенты столпились вокруг
Меж препаратами двух старух.

30

О, если бы он посмотрел на свет
Этот, такой человеческий орган —
Там воссияли бы стекла Пушторга,
Бобровьи глаза, седая река,
Эпос северного усердья,
И ядом остывший вензель — «А. К.».
Но все исчерпал научный ответ:
«Итак, два желудочка и предсердия».

31

Отдать мертвецу последний атеп
Прибыли братья Северьян и Мамант
Да рыська, названная Сестрой;
В газете дали несколько строк;
Джошуа Кук с договором в кармане
Грустно вздохнул: «On revient toujours
A ses premières amoures!»

И выписал пушника из Германии.

Детское Село
XI. 1927

ГЛАВА XIV, окончательная

> Читатель, за героев я своих
> Перед тобой ответствовать не стану.
>
> *Байрон*

1

Критик с Арбата: «Ну, как ваше мненье?»
Критик с Волхонки: «А ваше?» — «Пардон:
Я спросил первый».— «И тем не менее
Я прошу вас, дорогой патрон!»
«Нет, нет. Молодежи первое слово».
«Первое? Мне? Ах, что вы, ах, что вы!»
«Значит... молчим?» — «Ага».— «Угу».
Тсс... Ш-ш... М-м... Ни гугу!

2

Толстый читатель: «Роман хоть куда!
«Евгений Онегин» XX века».
Тонкий: «Да? Но по ком здесь удар?
Не против ли нового человека?»
«Кроль? Это новый-то человек?»
«А Картышев, а? А товарищ Мэк?
Это ведь новые в некоем роде.
Однако у автора сплошь пародии».

3

Толстый: «Ну, знаете, такие люди есть».
Тонкий: «Пусть! Но его ли это дело?
А где РКИ? Контрольная комиссия?
Ячейка, наконец? А дикие мысли
Насчет ленинизма? А самый трест?

Где он его видел? Сотрудники отдела
Какие-то чучела навязчивых идей.
Где он видал подобных людей?»

4

Толстый: «Это ведь стиль гротеска.
Не всем же писать, как Сергей Городецкий:
О стилях не спорят». Тонкий: «Стиль...
Но служит ли стиль этот пролетариату?
Он слишком различное совместил,
В нем очень много желчи и яду,
В нем, если хотите, эзоповский сказ.
Нет! Это — не наш заказ».

5

Дурак (напряженно царапая темя):
«Гм. Итак, по этой системе
Я выхожу, значит, номер один.
Вот так штука. Нужно стараться.
Читать календарь, хотя бы и вкратце,
Как номер второй (умен господин).
«Читать надо все! — говаривал Бисмарк.—
Я даже читаю чужие письма».

6

Учитель словесности, влезши в халат:
«Пишут тоже. Но как протокольно.
А прозаизмы. А русский язык.
И кто их, чертей, теребит за язык?
Поэзия, батя, должна быть холеной:
«Вешний багрец» или «сердца хлад».
А нынче версификатор ретивый
Тащит словеса из кооператива».

7

Он: «Я прихожу в смятенье,
Поэма меня взволновала». Она:
«Это идейная сторона».
Он: «Вы правы. И знаете что?

В его пессимизме масса здоровья!»
Это случилось марта второго.
Сидели в саду тихой четой...
Но «он» был мной, а «она» — моей тенью.

8

Эмигрант внешний: «Ага, наконец-то!
Русская совесть восстала. Гип-гип.
Мы предупреждали: жиды — это тип.
И предупреждаем теперь в das letzte.
С годами, того... ну, как там по-русски,
Кельнер! Огурчик и соточку «русской».
Ик. Пардон. А вобще проздравляю:
Не оберетесь нашего лаю».

9

Эмигрант внутренний: «Это скандал.
Что ж теперь будет? Опять спецеедство?
Нужно использовать крайние средства!
Необходимо. Дай карандаш:
«Мы, подписавшиеся, возражаем.
Вотируя наше доверие Кролю,
Мы не мешаемся; мы возрождаем,
Вполне довольные нашей ролью».

10

Первый поэт: «Явный упадок».
Второй поэт: «Он до прозы ведь падок».
Третий поэт: «Глагольною рифмой...»
Четвертый поэт: «Он не брезгует, хи».
Пятый поэт: «Неграциозно».
Шестой поэт: «Тенденциозно».
Седьмой поэт: «Скоро он логарифмы...»
Восьмой поэт: «Перепрет на стихи».

11

«Жорж, вот тут неплохой анекдот:
Один армянин увидал жирафа...»
«Серж, погоди, не то уйдет:

Приходит Мотя требовать штрафа:
Семь лет назад какой-то мот
Сказал про Мотю, что он бегемот».
«Семь лет назад?» — «И ответил Мотя:
«Я только вчера увидал бегемотя».

12

Некто с льняною бородкой: «Ну, как?»
Член ЦК совработников: «Прекрасно.
Идея трагедии беспочвенной личности,
По-моему, проведена отлично».
Льняная бородка: «И это все?»
Член ЦК: «Его пафос высок...»
Бородка: «А дальше, дальше никак?»
Член: «О, это все приукрашено.

13

Позвольте мне как члену ЦК
Заявить официально, что этого не было.
Я лично в гротесках всех этой небыли,
Изобретательных и летучих,
Вижу открытие новеньких штучек,
Которыми заняты поэтские цеха.
И нечего искать каких-то шагов нам
Там, где царит несомненный Гофман».

14

Льняная бородка: «Ну, уж извините:
Этого замалчивать нельзя.
Экстравагантность этого стиля
Имеет глубоко реалистические нити,
Далекие от провокационных лисят.
Я удивлен, что вы их упустили:
Все эти факты были и есть,
Но центр тяжести даже не здесь.

15

Суть в том, что вырос актив
Переходных слоев, воспитанных нами.
Хоть в нем ощутим ницшеанский соус,
Он жаждет Коммуны, не в страх, а за совесть,
И ждет признанья, под самое знамя
Идейные бури свои докатив.
Им нужен ответ с максимальной правдой:
Зырянин мертв, но жив его автор».

16

Да. Зырянин скончался от ран...
Но не пугайте автора моргом.
Хоть есть у поэта с героем родство,
Не здесь ищите сердце его:
Подумаем, как же нам быть с Пушторгом,
Который сквозь призму любого «изма»
Должен доплыть до социализма.

Так кончается этот роман.

Москва
1927

ПРИМЕЧАНИЯ

Рысь (стр. 7).— Поэма представляет собой один из ранних «венков сонетов», которыми Сельвинский увлекался в самом начале двадцатых годов. Текст ее подвергался автором неоднократной переделке.

Десятилетия спустя, в своих раздумьях «Черты моей жизни» [1], поэт писал: «Стиля в юности я не нашел. Глухая борьба социальной моей природы с навязанной ей эстетикой переживалась мною, как болезнь: противоречие это нашло себе выражение в том, что я писал «венки сонетов», раздирая холодный классицизм этой формы драматическим сюжетом, иногда намеренно грубым словарем» («Рысь»).

Вторая часть поэмы впервые была напечатана в сб. «Ранний Сельвинский». Целиком «Рысь» опубликована в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956. Поэт решительным образом очистил текст поэмы от словесных экспериментов, удалил из него нарочитую грубость стиля. Печатается по изданию 1956 г.

Улялаевщина (стр. 25).— Эпопея была задумана Сельвинским еще в студенческие годы. Поэт урывками работал над нею в 1922—1923 гг., закончив ее в 1924 г.

Отрывки печатались в 1926 г. в журнале «Новый мир».

В 1927 г. вышло первое ее издание («Артель писателей», М. «Круг»). Второе, исправленное и дополненное издание, было осуществлено в 1930 г. Госиздатом. Текст его переиздан в 1933—1934 гг. в ГИХЛе с иллюстрациями художника Тышлера. Через год «Улялаевщина» вышла с небольшими авторскими поправками в Гослитиздате и с тех пор не переиздавалась более двадцати лет.

---

[1] Рукопись находится в архиве поэта.

За это время поэт заново осмыслил давнюю критику эпопеи, и, повинуясь происшедшим в нем переменам, связанным с идейным и внутренним опытом, создал принципиально обновленную редакцию «Улялаевщины», которая была опубликована в т. I «Избранных произведений в двух томах», 1956.

В письме к Э. П. Носковой от 12 апреля 1964 г. (копия его сохранилась в архиве поэта) Сельвинский писал:

«Улялаевщина» была написана в 1924 г. Варианты 1930 и 1933 гг. не имеют никакого значения. Значение имеет только вариант 1956 г., который я считаю настоящей «Улялаевщиной». Она сохранила все то вкусное, что было в первом, но избавило эпопею прежде всего от чудовищной грубости языка. В те годы советские поэты стремились отбросить приторный язык символистов, на котором невозможно было писать новые произведения, стремящиеся отразить дух эпохи...» «...Еще более важной я считаю наново переписанную Тату. Сцена изнасилования Таты Улялаевым вычеркнута. Весь облик Таты приобрел совершенно другой рисунок. Эскизность облика Гая изменена гораздо более весомыми чертами. За это время я сам стал коммунистом, и мне было легко увидеть в нем то, чего я тогда по молодости не видел...»

«Улялаевщина» явилась началом реализации давних устремлений Сельвинского к эпическому роду поэзии. Появление эпопеи встретило благоприятные отзывы представителей молодого советского искусства. Президент Государственной Академии художественных наук литературовед П. Коган писал: «Улялаевщина» — одно из прекраснейших произведений, появившихся за последние годы... Она большой шаг по пути к той литературе, которая рано или поздно станет в уровень величию переживаемых нами событий» [1].

«Сельвинскому нужно верить. Он наш. Он искренне пришел к пролетариату, он больше не путается в «тонких системах партий»,— говорил критик А. Селивановский.

«Улялаевщина»... конечно, осталась одним из грандиознейших полотен борьбы большевизма с кулацким бандитизмом и анархической партизанщиной»,— считал критик А. Тарасенков.

Отклики подобного рода в значительной мере явились следствием восторженного удивления широтой замысла и необычностью поэтической формы, сочностью и вихревым движением поэтического слова.

---

[1] П. С. Коган, О возрождении эпопеи и о Сельвинском.— «Вечерняя Москва», сентябрь 1927 г.

Однако наряду с этим критика предъявляла эпопее крайне резкие претензии идейно-эстетического характера.

Литературовед В. Перцов в середине 30-х годов утверждал, что «Несмотря на социально отталкивающие черты образа, Улялаев оказывается в трактовке Сельвинского представителем размаха крестьянской революции... Сельвинский художественно ведет дело к тому, что перед нами не только бандит, но и вожак — «за народни права» [1].

Таким образом, поэту вменялась намеренная романтизация образа Улялаева.

Кроме того, В. Перцов считал, что «...против воли автора, мотив противопоставления личности и массы, мотив тяжбы с Советским государством вырвался как самый громкий мотив «Улялаевщины».

Подобная трактовка эпопеи в течение долгих лет варьировалась с различными оговорками в ряде учебных пособий.

Между тем задачей Сельвинского было показать, как, преодолевая острейшие социальные противоречия, разгул стихии и кулацкую ненависть к революции, увлекая за собою массы, побеждала правда ленинских идей.

Уже в ранней редакции «Улялаевщины» при всех ее недочетах (см. предисловие к I т. наст. изд.— *О. Р.*) ощутимой нотой звучал мотив пролетарской сущности Октябрьской революции. И именно его более отчетливо развил Сельвинский в новой редакции. Вот, например, как выглядел завод — символ кузницы пролетарской революции, в изданиях 1927 и 1930 гг.

Весь организм завода. Сталь,
Животная мощь электричества —
Сучили нервы у сотен, у тысяч,
Свистали, гудели: «Восстань!»

Забойщики, вагранщики, сверловщики, чеканщики,
Строгальщики, клепальщики, бойцы и маляры,
Выпотывая в лоске литье ребер и чекан щеки,
Лихорадили от революционных малярий.

В издании 1935 г. эти строки звучали так.

В окно неслась огневая метель:
В горячем цеху зарождалось солнце,
Как будто молотом и бессонницей
Там ковали мятеж!

---

[1] В. Перцов, Писатель и новая действительность. Сб. статей. Изд. второе, дополн., «Советский писатель», М. 1961.

Забойщики, вагранщики, сверловщики, чеканщики,
Строгальщики, клепальщики, бойцы и маляры,
Выпаривая в лоске литье ребер и чекан щеки,
Лихорадили от революционных малярий.

Сопоставление этих строк с их вариантом в новой редакции (стр. 26—27, II т. наст. изд.) убедительно показывает направление авторской мысли: стремление точнее отразить историческую атмосферу эпопеи, воссоздать картину подлинно народного движения с его конкретными приметами.

Не изменяя общей тональности эпопеи, автор старался освободить ткань стиха от натуралистических излишеств, художественно обеднявших произведение, социально обесцвечивавших характеры персонажей.

Добиваясь реалистической полнозвучности и ясности, он заново написал для эпопеи немало выразительных строф и строк.

Текстуальных различий между редакциями 1935 г. и последней очень много, и нет возможности привести хотя бы основные из них, но ключом к стилевым новациям настоящей редакции может служить вступление к третьей ее главе, перенесенное автором из другой его эпопеи — «Челюскиниана» (написанной в 1935—1937 гг.). Прелюд этот знаменовал собою поворот к новому направлению творческих поисков Сельвинского, который увидел более широкие возможности и в излюбленной им тактовой просодии, и в классической поступи русского стиха.

Однако главным для поэта оставалось прояснение замысла произведения, и тут решающим стала его работа над образом комиссара Гая, стремление сделать эскиз портретом.

Свою задачу поэт усматривал не в том, чтобы спустя много лет модернизировать Гая, создать характер идеального героя-коммуниста, противопоставленного анархистско-бандитскому вожаку Улялаеву, а в том, чтобы глубже исследовать его характер, раскрыть диалектику его политического роста и, не скрывая сомнений и ошибок комиссара, обнажить их природу и смысл. Вот почему и в нынешней редакции «Улялаевщины» мировоззрение Гая отнюдь не свободно от недопонимания им всей глубины ленинской трактовки крестьянского вопроса и идеалистических заблуждений, порожденных воспитавшей его средой мелкобуржуазной интеллигенции. Однако, учась на собственных ошибках, комиссар Гай честно и самоотверженно борется за торжество ленинской правды в деревне.

Претерпел изменение в новом варианте эпопеи и образ Ленина. В первоначальной редакции «Улялаевщины» он существовал как некая подразумеваемая главная сила, влияющая на ход событий. На первом плане фигура Ленина возникала лишь в эпилоге, где Ленин диктует машинистке декрет о продналоге, текст которого включен в поэтическую ткань, как кусок деловой политической прозы.

В новой редакции углублено художественное развитие образа Ленина — трибуна, вождя, проницательного политика и психолога, человека близкого к народу, решительного в своих действиях. Ленинский образ оживает, пронизанный лиризмом. К нему тянутся нити народных судеб, помыслы и чаяния положительных героев, с ним мысленно советуется комиссар Гай в самые трудные минуты.

Печатается поэма по тексту издания 1956 г. с небольшими авторскими поправками.

Записки поэта (стр. 161).— Создавались Сельвинским в первой половине 20-х годов. В начале 1926 г. автор уже читал их в московском Доме печати.

«Записки поэта» были изданы один раз (Госиздат, М. 1928).

Литературную общественность того времени насторожили элементы литературной мистификации и доходящие до крайности грубые полемические выпады автора против многих поэтов. Это, по-видимому, помешало критикам тогда же всерьез разобраться в поэме. Корнелий Зелинский в 1933 г. писал:

«У Сельвинского есть одна стихотворная повесть «Записки поэта»— повесть, несправедливо мало привлекшая внимание критики, но являющаяся замечательным документом, вводящим нас в существо поэтической психологии».

После выхода «Записок» критика старалась выискать в повести приметы тождества между ее автором и героем Евгением Неем. Попытка Зелинского объяснить в книге «Поэзия, как смысл» сущность произведения лишь запутывала дело. Провозгласив, что «Конструктивизм — основная философская категория поэзии», критик спрашивал: «Не эта ли философская идея есть основная идея «Записок поэта» Сельвинского?»

Зелинский цитировал некоторые высказывания героя «Записок» — и среди них неевские строки: «Революция возникла для того, чтобы Блок написал «Двенадцать» (гл. II), как мысль, разделяемую автором повести. Предположение это, сближавшее автора с героем, было неправомерным.

Как в свое время и автор поэмы, Евгений Ней прошел

сквозь хаотическую путаницу всевозможных «измов», через СОПО и «Стойло Пегаса» (оно именуется «Кабачок Желтой совы»).

Придумав поэта Нея со всеми его стихами, Сельвинский настолько рельефно «спроецировал» зигзаги его поэтических исканий, что это могло ввести в заблуждение читателя. Позднее поэт переработал «Записки», умерив литературную мистификацию и выделив важные моменты жизненной и поэтической биографии героя, давая тем самым возможность отчетливей отделить Евгения Нея от самого Ильи Сельвинского.

В теоретико-полемическом плане «Записки поэта» — конструктивистский памфлет против ЛЕФа, где агитационная поэзия трактуется как чисто плакатная, отлученная от подлинной лирики. На такую, неверную в корне, предпосылку наслоены были гротесковые нападки и пародии на литературных противников Сельвинского того времени.

В новой редакции автор значительно уменьшил желчную задиристость и натуралистическую бранчливость. Но некоторые огрубленные поэтические «шаржи» все же оставил.

Чтобы рассеять возможные недоумения сегодняшнего читателя, для которого 20-е годы — уже история, следует напомнить, что перед нами след давно отшумевших литературных стычек, принимавших порою скандальный характер, и что писал эти эпиграммы очень еще молодой поэт, обуреваемый запалом групповой предвзятости.

Во втором варианте «Записок», уточняя идею повествования — гибель Евгения Нея в поэтической схватке с эпохой,— поэт предпослал им новое вступление. В первой главе от прежнего остались только название, отдельные отрывки и строки из первоначального текста. Начало главы (примерно новые сто строк) меняют абрис биографии героя повести. Здесь же возник новый мотив антимеркантильной и антимещанской интеллектуальной мощи поэзии, возвышающей «маленького человека с талантом» над любым буржуа с миллионами. Вторая глава приобрела новое название (вместо старого: «Путешествие вороны») и увеличилась примерно втрое, изменив первоначальное русло темы. Глава третья, где Евгений Ней появляется в «Кабачке Желтой совы» и встречается с конструктивистами, во многом сохранила старый текст. Глава четвертая, которая называлась — «Идиллия с человеческими жертвами» и где изображался приход Евгения Нея на заседание Литературного центра конструктивистов, коренным образом переосмыслена автором. Поэт отказался от сугубо злободневных и острополемических деталей литературно-групповой борьбы тех лет, которые в повести были выражены запальчивыми и вызывающими эпите-

тами, вроде: «кумачовая халтура» или «барабан с горошком а-ля ЛЕФ» и др. Здесь же устами Нея давался «портрет Сельвинского», которого Ней противопоставлял Маяковскому... В главе пятой, представляющей собою посмертный сборник Евг. Нея «Шелковая луна», сокращено предисловие Н. Галинского, опущены некоторые стихотворения «Нея», а отдельные строки подверглись небольшой правке. Поэт изменил датировку глав и стихов «Шелковой луны», отнеся их к несколько более раннему периоду. Вместо прежней даты — 1926 г., поставлена новая — 1923 г. Вместо эпиграфа к «Шелковой луне» из Сельвинского «Обдумайте нас; почините нам нервы и наладьте в ход, как любой завод» поставлен эпиграф из Лермонтова.

Большое значение имеет заключительный аккорд повести — сцена встречи Евгения Нея с дамой в белом песце. Диалог их — это, по сути, разговор героя повести — поэта Нея — с жизнью. Он не в силах ответить на зовы революционной эпохи и потому обречен на гибель.

Для современного читателя «Записки поэта» интересны тем, что в них развенчаны исторически отжившие в нашей стране каноны декадентских, псевдопоэтических «изысков» и оторванность поэзии от реальной действительности.

Печатается по тексту, подготовленному автором для нового издания.

Пушторг (стр. 219).— Этот роман в стихах Сельвинский писал с февраля по ноябрь 1927 года. Отрывки и главы из него публиковались в журн. «Новый мир». Отдельной книгой роман был издан Госиздатом в 1929 и 1931 гг.

Незадолго до выхода книги в свет в газ. «Читатель и писатель» (1928, № 3) поэт изложил суть нового произведения: «Проблема романа — молодая советская интеллигенция (по терминологии конструктивистов — «переходники»), выросшая в эпоху революции и болезненно ищущая сращения с рабоче-крестьянским блоком. Считая себя одним из представителей этой интеллигенции, я тем не менее старался не идеализировать ее, а по возможности объективно изобразить как светлые, так и больные стороны ее психологии...»

Освещая сложные проблемы положения в годы нэпа интеллигенции, искренне стремившейся служить пролетарской революции и социализму, Сельвинский внутренне опирался на позицию партии и на неоднократные выступления Ленина против «духа антиспецства».

Критики конца 20-х — начала 30-х годов высказывали полярные мнения о романе. Некоторые считали, что «Пушторг» — одно

из глубочайших и значительных явлений советской поэзии»[1]. Другие упрекали поэта в том, что он «переоценил силы и значение таких одиночек, как Полуяров», что в романе «паника перед кролевщиной»[2]. Рапповская критика писала: «В «Пушторге» объективно выражено противопоставление интеллигенции рабочему классу» — и предостерегала Сельвинского и Маяковского от опасности «увеликанить» «кролевщину» и «победоносиковщину»... Такого рода опасения опирались на формально логическое, догматическое истолкование сюжетов романа Сельвинского и пьесы «Баня» Маяковского.

Между тем идейный пафос «Пушторга» — в стремлении разорвать сжимаемый «спецеедами» круг опасливого недоверия к молодой революционно настроенной интеллигенции, к специалистам из ее среды. Попытка истолковать противоборство Полуярова и Кроля как противопоставление интеллигенции партии была ошибочной, ибо близоруко и кощунственно отождествлять с партией Кроля или Победоносикова, людей случайных в партии, которые, несомненно, будут удалены из нее при ближайшей чистке партийных рядов. Образ Полуярова в новой редакции «Пушторга» приобрел большую внутреннюю цельность и контрастность изображения благодаря тому, что автор не только резче обозначил его незаурядные деловые качества, но и более четко оттенил в нем сильные стороны специалиста и внутреннюю интеллигентскую слабость, как личности.

Характер Кроля с самого начала был вылеплен более рельефно. Чтобы развенчать дутую фигуру ответственного работника, в душе мещанина и невежды, поэт прослеживает его поведение и повадки на работе и в быту, его привычки, взгляды, намеренья. Так возникает тип пробравшегося в партию политического карьериста со всеми признаками мелкобуржуазных воззрений.

Реалистическое изображение событий, переживаний и отношений героев в романе перемежается с лирико-философским обращением автора к читателю. В этих отступлениях разговор идет непосредственно о поэзии. Однако литературная полемика в романе иной раз давалась слишком расширительно, без достаточного повода для столь темпераментных наскоков на литературных противников поэта. Она отводила главную тему с ее широкого русла на мелководье несущественных претензий и обид.

---

[1] «Красная газета», 24 декабря 1929 г.
[2] «Революция и культура», 1929, № 2.

«Пушторг» — одно из немногих крупных произведений Сельвинского, которое не подверглось им коренной переделке. В письме к автору настоящей статьи (от 3 августа 1957 г.) поэт писал: «Из всех моих переделок опубликована только «Улялаевщина», между тем как в новых вариантах обретаются «Командарм-2», «Записки поэта», «Пао-Пао», «Умка Белый медведь». О «Пушторге» не могу сказать как о новом варианте, хотя кое-что в нем доработано».

Доработка проявилась в том, что поэт отказался от нарочитых издержек оригинальничанья, которые, фиксируя внимание читателя, мешали восприятию замысла произведения. Так, например, в первых изданиях после главы второй шла глава четвертая (помещаемая ранее третьей). В новой редакции глава третья идет вслед за второй, и потом все главы по порядку. Снята глава «вводная без номера», которая помещалась между одиннадцатой и двенадцатой главами.

Ради четкости развития основного замысла автор опустил в главах немало строф («октип»), некоторые заменил новыми.

В первой главе, например, поэтом исключены строфы 10 и 11, а в конце главы вместо строф 47, 48, 49, 50 написаны около ста новых строк, которые наглядно приближают читателя к главному сюжетному узлу романа. Если в первой редакции появление директора «Пушторга» Онисима Полуярова сопровождалось отвлеченными характеристиками («он держал себя, как патриций», «он носил под манжетой монисто» и т. п.), то в новой редакции знакомство с Полуяровым начинается с его делового выступления. Благодаря этому он сразу же раскрывается, как видный специалист — подлинный знаток своего дела. В дальнейших главах штрихи, дополнившие характеристику Полуярова, контрастней оттеняют социально-психологические мотивы его борьбы с Кролем, во всей их глубине и трагичности.

Так, в главе восьмой замена эпиграфа из Гете словами Биконсфильда и новые исповедальные строки письма Онисима к брату многое проясняют в умонастроении Полуярова. К тому же идейный смысл этой главы стал весомей, после того как поэт освободил от туманной символики строки о Ленине (см. стр. 106 в издании 1931 г.).

Новые эпитеты и развернутые метафоры сделали более рельефным характер студента Саввича, зримее оттенили приметы мещанства и обывательщины, характерные для Кроля. В лирических отступлениях поэтом сняты строки, носившие сугубо злободневный характер, орнаментальные довески и рифмованные «рисунки» на полях. В главе третьей автор снял задиристый, грубоватого тона наскок на ЛЕФ и Маяковского.

Выверяя более зрелым и требовательным глазом каждую строку, поэт безжалостно устранял образные «ребусы», освобождая реалистический рисунок стиха от натуралистических и формалистических излишеств, которые выражали не столько эмоции молодого поэта, сколько были данью мимолетной моде тогдашних литературных группок.

Печатается по тексту, подготовленному автором для настоящего издания.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Илья Сельвинский. 1923 г. Москва.
2. Литературный центр конструктивистов: А. Квятковский, В. Асмус, Э. Багрицкий, К. Зелинский, Н. Адуев, И. Сельвинский, Б. Агапов, В. Луговской, В. Инбер, Г. Гаузнер, Е. Габрилович. 1925 г. Москва.
3. И. Сельвинский. 1937 г.
4. И. Сельвинский. 1939 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Рысь 7
Улялаевщина 25
Записки поэта 161
Пушторг 219
Примечания 387
Список иллюстраций 397

Илья Львович Сельвинский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор
З. Кондратьева

Художественный редактор
Ю. Боярский

Технический редактор
Г. Лысенкова

Корректоры
Г. Асланянц и *Н. Гористова*

Сдано в набор 26/IV 1971 г. Подписано к печати 5/X 1971 г. А04127. Бумага типографская № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 12,5 печ. л. 21,0 усл. печ. л. 18,335+1 нак.=18,545 уч.-изд. л. Заказ 1087. Тираж 50 000 экз. Цена 2 р. 50 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 им. Евг. Соколовой, Измайловский пр., 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова. Москва, М-54, Валовая, 28

2 р. 50 к.